

найденыйш



найденыш



НОВОСИБИРСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1989

ББК 84 Р7
Н 20

Н20 Найденыш: Сборник/ [Сост. Ю. М. Мостков].—
Новосибирск: Новосибирское книжное издатель-
ство, 1989.— 208 с., ил
ISBN5—7620—0061—3

Сборник рассказов о животных. Проникнутые духом истинной человечности, рассказы учат бережному отношению к «братьям нашим меньшим».

Н $\frac{4801000000-051}{M143(03)-89}$ 61—89

ББК 84 Р7

НАЙДЕНЫШ

*Сборник рассказов о животных
для детей среднего школьного возраста*

Составитель **Ю. М. Мостков**

Редактор Н. К. Герасимова
Художник А. А. Заплавный
Художественный редактор В. П. Минко
Технический редактор М. Н. Коротаева
Корректор Н. М. Жукова

ИБ № 2265

Сдано в набор 14.11.88. Подписано в печать 02.06.89. Формат 84×108/32. Бум. тип. № 1. Гарнитура школьная. Печать высокая. Усл. печ. л. 11,34. Усл. кр.-отт. 11,76. Уч.-изд. л. 11,07. Тираж 50000 экз. Заказ № 103. Цена 65 к. Новосибирское книжное издательство, 630076, Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19. Полиграфкомбинат, 630007, Новосибирск, Красный проспект, 22.

ISBN 5—7620—0061—3

© Новосибирское книжное
издательство, 1989

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Давайте задумаемся — какое место в русской и советской литературе занимают книги о животных? Если обратиться к творчеству великих художников слова, окажется, что почти у каждого из них есть произведения, рассказывающие о животных. Вспомним повесть И. С. Тургенева «Муму» и его же стихотворение в прозе «Воробей», чеховских «Каштанку» и «Белогоблого», повесть Л. Н. Толстого «Холстомер», которой автор дал подзаголовок «История лошади», и рассказ А. И. Куприна «Изумруд», посвященный «памяти несравненного пегого рысака Холстомера»... Этот список можно продолжать и продолжать.

А если прибавить сюда произведения иностранных писателей — роман Джека Лондона «Белый Клык» и «Маугли» Джона Редьярда Киплинга, рассказы Сетона-Томпсона о животных, множество стихов и сказок... У всех народов есть сказки, герои которых — собаки и орлы, лоси и воробьи, зайцы и киты... Но редкость среди них и существа совсем малозаметные — вроде гусеницы, мотылька или улитки.

Чем же объяснить, что во все времена писатели обращались к ним, конечно, еще не раз будут обращаться к тем, о ком, по крылатому слову Сергея Есенина, мы говорим как о «братьях наших меньших»?

Прежде всего тем, что отношение к животным особенно выразительно проявляет характер человека.

Но это — далеко не единственная причина.

Вглядываясь в поведение животных, угадывать их чувства и мысли (не будем чураться утверждений, что животные не только чувствуют, но и думают), постигать оттенки их настроений, мотивы их поступков — это значит постигать удивительный мир природы, мир бесконечно богатый, необычайно сложный и поразительно интересный.

В наши дни человечество с особой силой осознало, что человек — это часть природы. Мы часто и на всякие лады повторя-

ем, что, если погибнет природа, погибнет и человечество. Это бесспорно, но каждый ли из нас отдает себе в этом отчет? Можно утверждать ставшие привычными слова «природу надо беречь» — и в то же время тащить из лесу не букеты, а охапки цветов, бросая их в первую же попавшуюся на улице мусорную урну. Слова о бережном отношении к живой природе подчас не мешают мимоходом швырнуть камнем или палкой в белку или бурундука, разорить птичье гнездо или растереть подошвой ботинка паука или безобидного жучка.

Книги о животных с самых ранних лет входят в душу ребенка и — пусть он еще не формулирует это словами — учат уважать Жизнь, в чем бы она ни проявлялась: в трепетании зеленого листа, в стремительном рывке рыбы, в легком полете чаек, в неутомимой деятельности муравьев и пчел, ос или шмелей.

В этой книге собраны произведения самых разных писателей — и тех, что широко известны, и тех, что сделали лишь первые шаги на литературном поприще.

Но все рассказы сошлись под этой обложкой неслучайно — хотелось, чтобы читатели книги не только узнали о жизни самых разных обитателей северных лесов и тропических джунглей, привычных для нас и тех, кого называют экзотическими, не только задумались о сложных связях и взаимозависимостях, существующих в природе, но и почувствовали, как по-разному звучат рассказы о зверях и птицах в устах разных писателей.

Среди авторов — мудрый знаток природы Михаил Пришвин, один из самых своеобразных мастеров советской прозы Андрей Платонов, признанные классики детской литературы Виталий Бианки и Борис Житков, Александр Серафимович, которого по праву называют в числе основоположников советской литературы.

В книге представлены рассказы Николая Головина — отважного фронтового разведчика, сражавшегося в годы Великой Отечественной в рядах гвардейской сибирской дивизии. И, может быть, именно эти рассказы, навеянные впечатлениями фронтовых будней, помогут ощутить, что человек даже в самых трудных, порой невыносимых условиях войны видит в животных своих верных и надежных друзей. А отношения между друзьями прежде всего определяются их взаимной верностью.

На кого рассчитана эта книга?

На детей — все рассказы написаны просто и доступно.

На взрослых — потому что это подлинная литература, затрагивающая одну из вечных тем — тему Жизни, Доброты, Человечности.

К этой книге, хочется верить, юный читатель будет обра-

щаться не раз, потому что, снова и снова перечитывая ее, он будет все глубже постигать суть произведений, перед ним постепенно откроется не только внешний сюжет, но и внутренний смысл событий, изображенных подлинными художниками-гуманистами. Откроется красота доброты, красота милосердия.

Ведь не случайно Сергей Есенин признается, что был счастлив и потому, что

...зверье, как братьев наших меньших,

Никогда не бил по голове.

Лев Толстой утверждал: «...чем живее в человеке сострадание ко всему живому (включайте в это, что хотите), тем он добрее, лучше, более человек».

К этим словам нечего прибавить.

Ю. Мостков

ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
БИАНКИ
1894—1959

МУРЗУК

Глава первая
НА ПРОСЕКЕ

Из чащи осторожно высунулась голова зверя с густыми бакенбардами и черными кисточками на ушах. Раскосые желтые глаза глянули в одну, потом в другую сторону просеки,— и зверь замер, насторожив уши.

Старик Андреич с одного взгляда признал бы прятавшуюся в чаще рысь. Но он в эту минуту продирался сквозь частый подлесок метров за сто от просеки.

Андреичу давно хотелось курить. Он остановился и потянул из-за пазухи кисет.

Рядом с ним в ельнике кто-то громко кашлянул.

Кисет полетел на землю. Андреич сдернул ружье с плеча и быстро взвел курки.

Между деревьями мелькнули рыже-бурая шерсть и голова косули с острыми ветвистыми рожками.

Андреич сейчас же опустил ружье и наклонился за кисетом: старик никогда не бил дичи в недозволенное время.

Между тем рысь, не заметив поблизости ничего подозрительного, скрылась в чащу.

Через минуту она снова вышла на просеку. Теперь она несла в зубах, бережно держа за шиворот, маленького рыжего рысенка.

Перейдя просеку, рысь сунула детеныша в мягкий мох под куст и сейчас же пошла назад.

Через две минуты второй рысенок барахтался ря-

дом с первым, и старая рысь отправилась за третьим, и последним.

В лесу послышался легкий хруст сучьев.

В один миг рысь вскарабкалась на ближайшее дерево и скрылась в его ветвях.

В это время Андреич разглядывал следы вспугнутой им косули. В тени густого ельника лежал еще снег. На нем виднелись глубокие отпечатки четырех пар узких копыт.

«Да тут их две было,— соображал охотник.— Вторая, верно, самка. Дальше просеки не уйдут. Пойти разве поглядеть?»

Он выбрался из чащи и, стараясь не шуметь, напрямик зашагал к просеке.

Андреич хорошо знал повадку зверей. Как он и думал, пробежав несколько десятков метров, косули почувствовали себя в безопасности и сразу перешли на шаг.

Первым вышел на просеку козел. Он поднял украшенную рожками голову и потянул в себя воздух.

Ветер дул прямо от него вдоль просеки,— поэтому козел не мог учуять рыси.

Он нетерпеливо топнул ногой.

Из кустов выскочила безрогая самка и остановилась рядом с ним.

Через минуту косули спокойно щипали у себя под ногами молодую зелень, изредка поднимая головы и осматриваясь.

Рысь хорошо видела их сквозь ветви.

Она выждала, когда обе косули одновременно опустили головы, и бесшумно скользнула на нижний сук дерева. Сук этот торчал над самой просекой, метрах в четырех от земли.

Густые ветви теперь не скрывали зверя от глаз косуль.

Но рысь так плотно прижалась к дереву, что ее неподвижное тело казалось просто наростом на толстом суку.

Косули не обращали на него внимания.

Они медленно подвигались вдоль просеки к ожидавшему их в засаде хищнику.

Андреич выглянул на просеку шагах в пятидесяти дальше ели, на которой сидела рысь. Он сразу заметил обеих косуль и, спрятавшись в кустах, стал следить за ними.

Старик никогда не пропускал случая поближе взглянуть на пугливых лесных зверей.

Косуля-самка шла впереди. Козел на несколько шагов отстал от нее.

Вдруг что-то темное камнем сорвалось с дерева на спину косули.

Косуля упала с переломленным хребтом.

Козел сделал отчаянный прыжок с места и мгновенно исчез в чаще.

— Рысь! — ахнул Андреич.

Раздумывать было некогда.

«Бах! Бах!» — один за другим грянули выстрелы двустволки.

Зверь высоко подскочил и с воем упал на землю.

Андреич выскочил из кустов и изо всей силы побежал по просеке. Страх упустить редкую добычу заставил его забыть осторожность.

Не успел старик добежать до рыси, как зверь неожиданно вскочил на ноги.

Андреич остановился в трех шагах от него.

Внезапно зверь прыгнул.

Сильный удар в грудь опрокинул старика навзничь.

Ружье далеко отлетело в сторону. Андреич прикрыл горло левой рукой.

В то же мгновение зубы зверя вонзились в нее до самой кости.

Старик выхватил из-за голенища нож и с размаху всадил в бок рыси.

Удар был смертельный. Зубы рыси разжались, и зверь свалился на землю.

Еще раз, для верности, ударил Андреич ножом и проворно вскочил на ноги.

Но зверь уже не дышал.

Андреич снял шапку и вытер со лба пот.

— Ух! — произнес он, тяжело переводя дух.

Страшная слабость внезапно охватила Андреича. Мышцы, напряженные в смертельной схватке, сразу обмякли. Ноги дрожали. Чтобы не упасть, он должен был присесть на пенек.

Прошло несколько минут, пока наконец старик пришел в себя.

Прежде всего он свернул сигарку измазанными кровью руками и глубоко затянулся.

Накурившись, Андреич промыл у ручейка раны, перевязал их тряпкой и принялся свежевать добычу.

Глава вторая МУРЗУК ПОЛУЧАЕТ ИМЯ И ПОМИЛОВАНИЕ

Маленький бурый рысенок лежал один в логове под корнями вывороченного дерева. Мать давно утатила обоих его рыжих братьев. Он не знал, куда и зачем. У него на днях только прорезались глаза, и он еще ничего не понимал. Он не чуял, как опасно оставаться в родном логове.

Прошлой ночью буря сильно накренила соседнее дерево. Огромный ствол ежеминутно грозил рухнуть и похоронить под собой рысенят. Вот почему старая рысь решила перетащить своих детенышей в другое место.

Маленький рысенок долго ждал матери. Но она не возвращалась.

Часа через два он почувствовал сильный голод и стал мяукать. С каждой минутой мяуканье становилось громче.

Мать все не приходила.

Наконец голод стал невыносим, и рысенок сам отправился разыскивать мать. Он вылез из логова и, больно тыкаясь подслеповатой мордочкой то в корни, то в землю, пополз вперед.

Андреич стоял на просеке и разглядывал шкуры убитых зверей. Туша рыси была уже зарыта в землю, а туша косули тщательно убрана в мешок.

— Должно, целковых двадцать дадут,— говорил старик, разглаживая густой мех рыси.— Ежели б не раны от ножа — все бы тридцать дали. Фартовый мех!

Шкура была действительно на редкость велика и красива. Темно-серый мех, почти без примеси рыжего цвета, был сверху густо усажен круглыми бурыми пятнами.

— А что мне с этой делать? — соображал Андреич, поднимая с земли шкуру косули. — Вишь ведь как изрешетил!

Картечь, направленная в рысь, попала и в косулю. Тонкая кожа животного была насквозь пробита в нескольких местах.

— Увидит кто-нибудь, подумает: «Старик маток бьет». Ну, не бросать же добро, стану под голову себе стелить.

Андреич бережно скатал обе шкуры мехом внутрь, обвязал ремнем и перекинул за спину.

— До темени надо домой поспевать! — и старик уже тронулся было вдоль просеки. Вдруг в чаще слышалось тихое жалобное мяуканье.

Андреич прислушался.

Писк повторился.

Андреич скинул ношу на землю и пошел в чащу.

Через минуту он вернулся на просеку, держа в каждой руке по рыжему рысенку. Зверьки старались освободиться и пискливо мяукали.

Один из них сильно царапнул державшую его руку.

— Ишь, ведьменыш! — озлобился Андреич. — Уже когти в ход пускаешь! Весь в мать. Не на семя же вас оставлять! — кончив их, проворчал Андреич и, подняв с земли крепкий сук, стал копать для рысенят яму.

...От долгого крика бурый рысенок совсем охрип и все только полз и полз вперед, сам не зная куда.

Чаща кончилась, и он очутился на открытом месте: логово рыси было в нескольких шагах от просеки.

Что-то шевелилось впереди. Но глаза рысенка, привыкшие к сумраку чащи, не видели Андреича, рывшего суком землю.

Смутное чувство страха заставило рысенка прижаться к земле. Однако через минуту голод пересилил, и зверек побрел дальше — прямо на стоявшего к нему спиной Андреича.

Старик обернулся как раз в ту минуту, когда рысенок подполз к его ногам.

Андреич протянул руку за трупам рысенят и неожиданно увидал рядом с ними живого зверька.

— Ты откуда? — опешил старик.

Рысенок осел на задние лапки и слабо мяукнул, открыв розовый ротик.

— Совсем котенок! — сказал Андреич, с любопытством разглядывая зверька.

Рысенок опять пополз, неловко перевалился через корень и кубарем скатился в яму.

— Сам в могилу пожаловал! Глупыш ты! — засмеялся Андреич, наклонился и вытащил рысенка из ямы.

— Ишь, усищи растопорщил! А глаза-то раскозые — настоящий Мурзук Батыевич!

Тут голодный рысенок лизнул шершавым язычком подставленный ему палец.

— Проголодался? — участливо спросил Андреич. — Как же теперь быть с тобой? Надо бы пристукнуть да закопать вместе с теми...

— А ведь не убить мне тебя, сироту! — вдруг весело рассмеялся старик. — Ладно уж, живи! В избе у меня будешь расти, мышей пугать. Полезай, Мурзук, за пазуху!

Андреич быстро закидал землей убитых рысенят, вскинул мешок на спину и торопливо зашагал домой.

Глава третья

ДЕТСТВО И ВОСПИТАНИЕ

Андреич был лесной сторож.

Он жил в избушке в самой середине своего участка. С трех сторон избушку обступил лес. С четвертой тянулся большой луг. По лугу пробегала дорога в ближнее село.

Старик был одинок. Хозяйство его состояло из коровы, лошади, десятка кур и дряхлого гончего кобеля.

Кобеля звали Кунак. Хозяин оставлял его сторожить избу, когда надолго уходил в лес. Так случилось и в этот день, когда старик убил рысь.

До дому Андреич добрался уже в сумерки. Кунак приветливым лаем встретил хозяина.

— Гляди-ка, — говорил старик, сваливая с плеч добычу, — во, какую я дичину добыл!

Почуяв запах рыси, Кунак поднял шерсть дыбом и заворчал.

— Что, брат, не любишь? Лютый зверь. Чуть не загрыз меня, проклятый!

— А вот, гляди: котенок махонький. Мурзук прозывается.

— Цыц! Не трогай! Вместе жить будем — привыкай.

Войдя в избу, Андреич достал из-под кровати плетенку и положил в нее зверька. Потом принес полную кринку, обмакнул в молоко палец и поднес его рысенку.

Голодный зверек сейчас же слизал молоко.

— Пьет! — радовался Андреич. — Обожди, соску тебе сделаю.

Свернув трубочку из плотной тряпки, Андреич налил в нее молока и сунул рысенку в рот.

Сперва Мурзук захлебывался, потом дело пошло на лад.

Через десять минут, сытый и довольный, рысенок крепко спал, свернувшись клубком, в своей новой постели.

Спустя неделю Мурзук выучился лакать молоко из плошки. К этому времени он окреп на ногах и целыми днями весело играл на полу, точно домашний котенок.

Андреич часто забавлялся с ним. Кунак еще подозрительно приглядывался к маленькому хищнику.

Но скоро и он был побежден.

Раз как-то, когда старый пес сладко дремал под лавкой, Мурзук подкрался к нему и угнезвился у него на груди. Кунаку это было приятно, и он сделал вид, что не замечает дерзкого малыша.

С этих пор Мурзук взял за правило спать вместе с Кунаком и не обращал никакого внимания на его притворное ворчанье.

Скоро они так подружились, что даже ели из одной плошки.

«Вот это дело! — думал, глядя на них, Андреич. — Пес добру научит рысенка».

И верно, дикий котенок заметно перенимал привычки своего старшего друга. Он так же доверчиво относился к хозяину, так же слушался каждого его приказанья.

Случалось Мурзуку разбить и вылакать кринку молока, погнаться за курами или еще как-нибудь напроказить, но довольно было сердитого окрика хозяина, чтобы умный зверь понял свою вину. Он сейчас же ложился на землю и подползал к Андрейчу, виновато извиваясь всем телом.

Ни разу старик не пустил в ход палки.

У Андрейча никогда не было семьи, и весь богатый запас своей доброты он отдавал домашним животным. Он много на своем веку держал и диких зверей. Для всех он умел найти дело и терпеливо обучить ему.

И все звери, каких только ему ни приходилось держать, становились его добровольными слугами и верными друзьями.

Когда Мурзук подрос, нашлось и для него дело в хозяйстве Андрейча.

На деньги, вырученные за шкуру старой рыси, Андрейч купил себе козла с козой. У бородатого, сердитого козла был дурной характер. Старику стоило больших трудов загонять упрямца в хлев.

Он обучил это делать Кунака.

Мурзук не отставал от своего друга ни на шаг и каждый вечер помогал ему отыскивать коз, далеко забредавших в лес.

При виде молодой рыси козы в страхе бросались бежать, и загонщикам оставалось только направлять их к дому.

Осенью окошел дряхлый Кунак.

С этих пор Мурзук занял в лесной сторожке место собаки. На него перешли все ее обязанности.

Андрейч брал Мурзука с собой в лес, обучал загонять дичь на охоте, оставлял сторожить избу, когда сам уезжал в деревню. И Мурзук весело подчинялся всем приказаниям хозяина.

Слух о ручной рыси старика Андрейча прошел по всем окрестным деревням. Люди приходили издалека поглядеть на диковинного зверя.

Одиноким старик был рад гостям. Чтобы их потешить, он заставлял Мурзука проделывать разные фокусы. Гости удивлялись силе, ловкости и замечательному послушанию зверя.

На глазах у всех Мурзук одним ударом лапы перешибал толстые сучья, рвал зубами сыромятные

ремни, отыскивал в траве жаворонка, схватывал его на лету и выпускал по первому слову хозяина.

Многие предлагали Андреичу большие деньги за Мурзука. Но старик только головой качал. Он крепко любил зверя и ни за что не хотел с ним расстаться.

Глава четвертая НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ

Прошло три года.

Душный летний день уже клонился к вечеру.

На дороге к сторожке Андреича показалась большая телега, запряженная парой. Впереди сидел возница в поддевке и человек в пальто и шляпе. Позади них к телеге была привязана большая железная клетка.

У ветхого плетня возница придержал лошадей и хотел слезть отворить ворота.

В эту минуту с крыши избы бесшумно соскочила крупная рысь.

В три прыжка зверь очутился у плетня. Четвертым он легко перемахнул высокий плетень — и внезапно появился перед испуганным возницей.

Лошади шарахнулись в сторону, подхватили и понесли.

Человек в шляпе что-то громко крикнул и замахал руками.

Андреич вышел из избы.

Он увидел, как седок выхватил вожжи из рук возницы и заставил лошадей дать широкий круг по лугу.

— Мурзук! — крикнул Андреич. — Ступай, друг, назад. Нечего тебе гостей пугать. Гляди, уж не новое ли начальство пожаловало?

Мурзук вернулся, лизнул хозяину руку и улегся у его ног.

— Уберите вашего дьявола, — кричал седок. — Лошади разнесут!

— Айда на крышу! — тихонько приказал Андреич.

Рысь ловко вскарабкалась вверх по бревнам.

Андреич отворил ворота. Лошади, косясь и вздра-

гивая, вошли во двор. Седок соскочил и подошел к Андреичу.

— Моя фамилия,— сказал он резким голосом,— мистер Джекобс. Я командирован частным зоологическим садом. Вашу ручную рысь я уже видел. Действительно, великолепный экземпляр. Сколько вы желаете за нее получить?

Андреич стоял оглушенный потоком незнакомых слов.

— Я спрашиваю вас,— нетерпеливо повторил Джекобс,— какую сумму вы желаете получить за рысь?

— Да она не продажная,— испуганно пролепетал старик,— вам это зря сказали.

— Напротив, меня предупреждали, что вы не захотите продать ее. Но это вздор! Я вам даю сорок рублей.

Андреич растерялся. Необходимые слова не шли на память, и он не знал, как отказать этому барину.

— Пятьдесят рублей? — предложил Джекобс.

Андреич молча покачал головой, переминаясь с ноги на ногу.

— Иван! — Джекобс обернулся к вознице.— Распряги лошадей и задай им овса. Мы здесь ночуем.

— Милости прошу! — обрадовался Андреич.— Пожалуйста в избу. Сейчас самоварчик поставлю!

Про себя старик подумал: «Ишь, скорый какой! Отдай ему Мурзука! Ну, теперь ладно: за чайком объясню все толком».

Джекобс несколько минут разглядывал спокойно раскинувшуюся на крыше рысь, повернулся и решительно взошел на крыльцо.

Самовар вскипел быстро.

Андреич кликнул с крыльца возницу:

— Ступай, сынок, в избу, чай поспел.

Но кучер не решался двинуться с места: Мурзук снова соскочил с крыши и стоял рядом с хозяином.

За три года он сильно вырос. Теперь от кончика носа до хвоста в нем было больше метра. Он перерос даже свою мать. Он был высок на ногах, плотно сложен, а пышные бакенбарды, грозно растопыренные усы и пучки черных волос на ушах придавали его лицу особенно свирепое выражение. На сером мехе с темными пятнами не было и следа рыжих волос.

— Он смирный! — улыбулся Андреич, ласково трепля Мурзук по щеке. — Ступай, Мурзук, ступай в лес! Пора тебе на охоту. А понадобится — позову.

Мурзук неохотно пошел в лес.

Он не любил оставлять хозяина одного, когда приезжали гости. А у этих был еще такой странный вид! Мурзук в первый раз видел людей в городском платье.

Но слово хозяина — закон.

Мурзук перескочил через плетень и исчез в лесу.

За чаем Андреич первый заговорил с гостем.

— Не обижайтесь, господин Мистер, на старика. Сами рассудите: человек я старый, больной. Без Мурзук никак мне с хозяйством не управиться. Зарез мне теперь без него.

Старик говорил правду: за последние годы он весь поседел и выглядел совсем дряхлым. Ревматизм его мучил.

Но Джекобсу не было решительно никакого дела до хозяина; ему нужен был зверь.

Битый час убеждал он старика продать рысь, просил, угрожал и повышал цену.

Ничего не помогало.

— Так вы решительно отказываетесь? — спросил наконец Джекобс, сдвинув брови.

— Не могу, хоть убейте! — твердо сказал Андреич. — Друг он мне, сын родной, а не зверь.

Джекобс с грохотом отодвинул стул и коротко спросил:

— Где спать?

— А вот сюда пожалуйста! — засуетился Андреич, показывая на лежанку. — Туточка почище. Овчинный тулуп вам постелю и под голову чего-нибудь разыщу.

Старику было очень неприятно, что пришлось отказать гостю. Он всеми силами старался угодить Джекобсу чем мог.

В куче старого тряпья попалась ему шкура косули, убитой старой рысью — матерью Мурзук. Шкура была мягка и приятна на ощупь.

Андреич сложил ее вдвое, мехом вверх, и положил гостю в изголовье.

Глава пятая
ДЖЕКОБС ВЫИГРЫВАЕТ ПАРИ

Джекобса постигла крупная неудача: он проиграл пари. Самолюбие его было жестоко задето, и он не мог спать.

Джекобс полжизни прожил в России. Но в глубине души он оставался истым американцем. Он любил упражнять свою волю, заключая трудные пари, и выигрывал их, несмотря на все препятствия.

Служил Джекобс в зверинце, при котором был увеселительный сад. Учреждение это громко называлось Зоологическим садом.

Два дня тому назад хозяин зверинца передал Джекобсу дошедшие до города слухи о ручной рыси лесного сторожа.

— Хорошо бы нам,— прибавил хозяин,— заполучить этого зверя. Рысь, говорят, необычайно красива и велика. Она привлечет публику в сад. Я было хотел послать вас за рысью, да боюсь — вам не удастся выполнить поручение. Лесник, говорят, ни за что не расстанется со зверем.

— Пошлите,— сказал Джекобс, пыхнув дымом из коротенькой трубочки.

— Да ведь даром съездите? — равнодушно произнес заведующий.

Про себя он твердо решил получить рысь. Надо было только хорошенько раззадорить Джекобса,— и тот достанет зверя хоть из-под семи замков.

— Пари? — предложил американец.

«Ключуло!» — подумал хозяин. Вслух он сказал:

— Напрасно горячитесь, мистер. Дело все равно не выгорит.

— Пари,— настойчиво повторил Джекобс.

— Идет,— пожимая плечами, согласился хозяин.

Пари было тут же заключено, и на следующий день американец отправился в путь.

Джекобс беспокойно ворочался на лежанке. Он думал о том, какой насмешливой улыбкой встретит его завтра хозяин сада.

— Ту пигс догс! — выругался американец, стремительно вскакивая на ноги.— К чертям собачьим! Невозможно спать в такой духоте! Пойду лучше на воздухе лягу.

Он схватил тулуп, сунул под мышку шкуру косули и вышел на крыльцо.

На небе уже занималась заря.

«Увезти насильно зверя? — тоскливо соображал Джекобс, расстилая тулуп.— Возьмешь его голыми руками!» — издевался он сам над собой.

Тут Джекобс расправил шкуру косули, чтобы снова аккуратно сложить ее себе под голову. При этом взгляд его упал на продырявленную картечью кожу животного.

«Здоровый заряд вlepил!» — подумал Джекобс.

Он сам был охотник и сразу заинтересовался удачным выстрелом.

«Фью! — свистнул вдруг американец: в том месте шкуры, где у козла должны быть рога, дырок для них не оказалось.— Самка! Вот так фунт! Старик-то, видно, маток бьет!»

Еще с минуту вертел Джекобс в руках шкуру косули, что-то усиленно про себя обдумывая. Потом хлопнул себя по лбу и громко сказал:

— О'кей! Пари выиграно!

Затем Джекобс лег и крепко заснул.

Утром американец подошел к Андреичу со шкурой косули в руках и строго сказал:

— Послушайте, это как называется?

— Чего? — не понял старик.

— Шкура косули-самки. Вы застрелили матку. Вот следы дробы.

«Не было печали!» — ахнул про себя Андреич.

Сбиваясь от волнения, он стал рассказывать гостю, как старая рысь при нем прыгнула косуле на спину и как он застрелил хищника на его жертве.

— Толкуйте! — оборвал его американец.— Меня баснями не проведешь. Я представлю шкуру вашему начальству. Вы уплатите штраф в 25 рублей и будете лишены места. Я позабочусь об этом.

Ноги подкосились у старика. Он хорошо знал, как строго карает суд лесных сторожей за нарушение охотничьих правил. Чем может он доказать, что



дробь попала в животное после того, как оно было убито рысью?

Старый лесничий на слово поверил бы Андреичу: он знал его безупречную службу в течение тридцати лет. Но, как назло, прежний лесничий недавно был смнен молодым. Этот еще и в глаза не видал Андреича.

— Иван! — крикнул Джекобс. — Закладывай лошадей! Мы уезжаем.

Андреич опустил на лавку.

Американец хладнокровно раскуривал короткую трубку.

— Вот что! — внезапно обернулся он к Андреичу. — Даю вам две минуты на размышление: или вы мне отдадите рысь — тогда я верну вам шкуру косули, — или вас выгонят со службы. Тогда все равно вам придется расстаться со зверем, потому что с ним ни в одну деревню не пустят. Выбирайте.

Удар был метко рассчитан. Мысли вихрем понесли в голове Андреича.

Отдать Мурзука? Ни за что! Лучше лишиться места.

Но если дойдет до этого, придется с Мурзуком проститься. И пойдет старик один-одинешенек скитаться по белу свету, без угла, без пристанища...

Чуял Андреич: недолго ему остается жить. Трудно было старику бросить избу, которую он считал своей.

Однако нечего было делать.

Ни слова не сказал Андреич американцу. Сходил в избу за ружьем и выстрелил в воздух.

— Готово! — объявил возница, подводя лошадей к крыльцу.

— Ну, хозяин, — обратился Джекобс к Андреичу. — Вот расписка. Я не хочу брать у вас зверя даром. Получите тридцать рублей. Подпишитесь вот здесь.

— Не надо мне ваших денег, — мрачно сказал старик.

В эту минуту стайка дроздов с тревожным криком поднялась с опушки леса.

Почти сейчас же из кустов выскочил Мурзук.

Он был далеко в лесу, когда услышал выстрел Андреича, и быстро примчался на зов хозяина.

Подбежав к старику, зверь вскинулся ему на грудь.

Старик прижал к себе голову рыси и ласково погладил. Потом подошел к клетке и показал на нее Мурзуку.

— Иди, сынок, сюда!

Рысь весело вскочила на телегу и протиснулась в узкую дверцу клетки. Андреич захлопнул за ней дверцу и отвернулся.

— Берегите зверя,— тихо попросил он американца.

— О, можете быть спокойны! — решительно заявил Джекобс.— Он будет нашим любимцем. Сами можете прийти посмотреть.

И он сказал Андреичу адрес зверинца.

Старик проводил телегу за ворота, еще раз простился с Мурзуком и, приказав ему лежать смирно, побрел в избу.

Дома Андреич бросил в огонь шкуру косули, сел перед печкой и горько задумался.

Глава шестая В ТЮРЬМЕ

Мурзук спокойно дремал в клетке. Хозяин велел ему лежать здесь. В этом не было ничего странного: Мурзук привык подолгу дожидаться Андреича там, где ему приказано. В конце концов хозяин приходил, и тогда Мурзук снова бежал куда вздумается.

Странно было только, что его куда-то везли незнакомые люди. Но и это не беспокоило Мурзука: разве не мог он в любую минуту толкнуть дверцу лапой, соскочить с телеги и убежать в лес?

До станции доехали скоро. Джекобс немилосердно гнал лошадей: он боялся, как бы зверь не наделал ему в дороге хлопот.

Первые признаки беспокойства Мурзук обнаружил, когда с грохотом подкатил поезд. Зверь вскочил на ноги и стал зорко вглядываться в толпу, обступившую клетку. Глаза его искали хозяина.

Хозяина не было.

Джекобс успел добыть разрешение на провоз зве-

ря в багажном вагоне и с большими предосторожностями перенес клетку в поезд.

Поезд тронулся. Лязгнуло под полом железо, застучали колеса.

Тут Мурзук почувал, что дело неладно.

Он ударил лапой дверцу клетки.

Дверца не поддавалась.

Мурзук стал бешено метаться из угла в угол, бил лапами направо и налево, грыз прутья клетки зубами.

Все напрасно. Кругом мерно позвякивало железо.

Внезапно Мурзук понял: он попал в ловушку.

Это сразу изменило его поведение. Зверь прижался к задней глухой стенке клетки и застыл.

Только глаза его горели в темноте вагона.

Через шестнадцать часов поезд пришел в город. Шум, грохот, крики не могли нарушить оцепенения зверя.

Американец нанял подводу и благополучно доставил рысь в зверинец.

Мурзука выпустили в новую, более просторную клетку. Он сейчас же попробовал, нельзя ли отсюда бежать.

Слепая ярость отчаяния удесятирила его силы. Но люди хорошо рассчитали прочность постройки: рысь не могла вырваться из тюрьмы.

И пока обезумевший зверь метался по клетке, хозяин зверинца любовался им, восхищался его силой, необычайной величиной и красотой.

Потом они пошли вместе с Джекобсом. В воротах сада оба приостановились. До них донесся долгий, жуткий крик рыси. Он начался с очень высокой ноты, перешел в дикий плач и рев и кончился низким глухим стоном.

— Оплакивает потерянную свободу! — улыбаясь, сказал хозяин и взял Джекобса под руку.

Оба спокойно зашагали к выходу.

Эти люди давно привыкли к бесконечно тоскливому крику диких зверей, обреченных на медленную смерть в неволе.

Весь день Мурзук неподвижно пролежал на толстом суке, вбитом в стену его клетки на высоте двух метров от пола.

Был понедельник, и сад был закрыт для публики. Между клетками зверей ходили сторожа. Они убирали сад после большого воскресного гулянья, чистили клетки, кормили зверей.

Мурзуку в клетку просунули на длинной палке кусок конины.

Мурзук не двинулся: тоска убила в нем голод.

Кругом ревели, дрались и топтались в тесных клетках звери. Дальше, в местах, отгороженных частой проволочной сеткой, хлопали крыльями и кричали птицы.

Глава седьмая

НОЧЬЮ

С наступлением темноты сторожа ушли.

Мало-помалу уgomонились звери и птицы.

Когда совсем стемнело, Мурзук поднялся.

Теперь человеческие глаза не следили за ним. Он знал это потому, что хорошо видел в темноте, и потому еще, что его уши ловили и понимали каждый шорох.

Приступ тупого отчаяния прошел. С новой силой проснулось желание бежать. С ним вместе проснулся голод.

Мясо все еще лежало на полу у самой решетки. Прежде чем приняться за него, Мурзук осторожно огляделся.

В соседней клетке слева были волки. Четверо из них спокойно спали, свернувшись как собаки. Пятый сидел, упершись передними лапами в землю. Глазами он равнодушно уставился прямо перед собой.

Мурзук видел, что волки не обращают на него внимания. Значит, можно схватить мясо и вскочить с ним на сук.

Но справа раздался шорох.

Мурзук увидал в соседней клетке большую пятнистую кошку с длинным пушистым хвостом.

Кошка кралась к решетке, за которой лежало мясо. Она могла достать его своей длинной лапой.

Мурзук почувствовал внезапный прилив ярости.

Хищник не терпит близко от себя другого хищника родственной ему породы. Между кошками эта родственная ненависть особенно сильна.

Пятнистый зверь осторожно просунул лапу между прутьями. Взгляд его впился в неподвижную фигуру рыси.

Мурзук не шелохнулся.

Глаза зверя перебежали с него на мясо. Лапа просунулась дальше. Когти вонзились в мясо.

Мурзук прыгнул.

Движение было так быстро, что пятнистая кошка не успела отдернуть лапы.

Громкий вой оглушил Мурзука. Вор отпрянул.

Мурзук быстро схватил мясо в зубы и вскочил на сук.

Раненый зверь с яростным воем бросился на решетку, но упал, ударившись о железные прутья.

Мурзук чувствовал, что в середине своей клетки он в полной безопасности.

Не обращая больше внимания на бесновавшегося противника, он принялся за мясо.

Чутье у Мурзука было неважное. Сразу он не разобрал, что мясо плохое.

Это сказали ему теперь его длинные, чувствительные усы. Он ощупал ими конину и с отвращением бросил на пол. Никогда еще Мурзук не ел падали.

Голод страшно его мучил. Он тщательно осмотрел всю клетку, но не нашел больше ничего съедобного.

Тогда Мурзук испустил тихое, тонкое, тоскливое мяуканье.

Словно в ответ ему, из темноты раздался ужасный хохот и вой.

Шерсть дыбом встала на всем теле Мурзука. Спина его выгнулась.

Отвратительный вопль гиены был словно сигнал для других зверей.

Сейчас же рядом с Мурзуком поднялись, завyli волки.

Подальше заплакал шакал.

В другом ряду клеток — напротив — один за другим заревели медведи; их было много в зверинце.

Издали донеслось жуткое уханье филина. А в промежутках между ревом и криками слышался тяжелый, мерный топот чудовищных ног слона.

Внезапно все другие звуки покрыло раскатистое рычанье льва.

Мурзук задрожал всем телом. Ему не надо было и видеть зверя. Он чувствовал, что этот голос принадлежит огромному коту, что он гораздо сильнее и больше его самого.

Крик зверей кончился так же внезапно, как начался.

Понемногу улеглось и возбуждение Мурзука.

Голод жег его внутренности.

Легкий шум под полом сразу привлек внимание Мурзука. Он соскочил с дерева. Глаза его впились в небольшую черную дырку в полу.

Прошла минута напряженного ожидания.

В темном отверстии блеснули глазки маленького зверька. Еще через минуту из-под пола выскочила крыса и помчалась к мясу.

Мурзук проворно прихлопнул ее лапой.

Голод не заставил его сразу растерзать добычу.

Мурзук снова насторожился и терпеливо ждал.

Скоро опять послышался шорох под полом. Вторая крыса высунулась из подполья — и была мгновенно подхвачена когтистой лапой.

Охота продолжалась больше часа. Уже восемь мертвых крыс лежало вокруг Мурзука.

Девятая заметила хищника из подполья. Она скрылась. Под полом раздался топот целой армии крыс — и все смолкло.

Мурзук понял, что крысы ушли из подполья, и принялся за обед.

Первые лучи зари застали Мурзука за работой. Он схватывал зубами прутья решетки и тряс их.

Один из прутьев слегка зашатался.

Мурзук стал неистово трясти его. Прут заметно поддавался, раскачиваясь все сильнее и сильнее.

Вдруг послышались шаги по песчаной дорожке между клетками.

Мурзук отскочил от решетки и вспрыгнул на сук.

Сторож первым делом подошел к клетке рыси.

Зверь спокойно лежал на толстом суку. Он выглядел сытым и довольным.

Сторож почесал в затылке.

— Мясо не тронуту, а зверь будто сыт... Другие, как сюда попадут, места себе не находят, а этот и в ус не дует. Должно, привык взаперти сидеть.

Глава восьмая

БУНТ

Публика рано начала собираться в сад.

Когда первые посетители вошли в ворота, Джекобс кончал свой утренний обход зверинца. Он остановился перед клеткой рыси и подозвал сторожа.

— Рысь не съела вчерашнего мяса. Оставить в клетке. Нового не давать, пока это не будет съедено.

— Мясо-то и сейчас того...— робко возразил сторож,— с душком. Зверь, должно, к свежему привык.

— Делайте что вам говорят!— вспылил американец.— Если зверей кормить свежим, сад через месяц в трубу вылетит.

Сторож молчал. Ослушаться Джекобса он не смел: американец был помощником хозяина.

В это время к клетке Мурзука подошла группа школьников.

Толстенкий учитель, в пенсне и с соломенной шляпой в руках, вежливо обратился к Джекобсу:

— Скажите, пожалуйста, этого зверя, верно, только что поймали?

— Да. Он только вчера привезен.

— Это сразу видно! Смотрите, дети, какой у него злобный и дикий вид. Он прямо съесть готов нас глазами.

Это была правда: Мурзук насторожился и злыми глазами следил за каждым движением людей.

В последние два дня в нем произошла большая перемена. Пока Мурзук жил у Андреича, он не чувствовал вражды к людям. Теперь же в клетке зверинца сидел хищный зверь из тех, что вечно прячутся в темной чаще леса.

— Это — рысь,— продолжал учитель,— пантера наших северных лесов. Водится в Европейской России и в Сибирской тайге. В культурных странах Западной Европы давно уже истребили этих опасных хищ-

ников. В Германии, например, последняя рысь была убита в середине прошлого столетия.

— Их убивают за то, что они нападают на людей? — спросила маленькая девочка.

— Ну, на человека-то разве только раненая рысь бросится.

— А это кто? — спросил один из мальчиков, показывая на крупную пятнистую кошку в соседней клетке.

— Это пантера, или леопард, — сказал учитель. — Водится в Африке и в Южной Азии.

— А кто сильнее — рысь или леопард? — спросил другой мальчик.

Учитель не успел ответить.

— Смотрите, — закричала девочка, показывая на леопарда, — у него лапа в крови!

Джекобс быстро подошел к клетке.

— Вы невнимательно смотрите за зверями! — строго сказал он сторожу. — Надо почаще ночью обходить клетки. Нет сомнения, что это рысь подралась ночью с леопардом. Давайте ей поменьше мяса, пока она не перебесится.

Подошли новые посетители, разглядывали рысь, старались вывести ее из терпения. Мальчики кидали в нее песком.

Мурзук весь день сидел как на иголках.

А ночью снова принялся расшатывать железный прут.

Тянулись дни. Железный прут все еще держался нижним концом в каменном полу клетки.

Мурзук жестоко страдал.

Осторожные крысы ни разу больше не показывались из подполья. Долгий голод заставил Мурзукать есть тухлую конину. Но и этой пищи не хватало. Под густой шерстью рыси отчетливо выступили ребра.

Днем Мурзук казался ко всему равнодушным. Никакие приставания публики не могли его вывести из себя. Что бы ни делали люди, он неподвижно лежал на своем дереве.

Только по ночам он оживлялся.

Быстро съедал мясо и сейчас же принимался за решетку. Целыми часами раскачивал все тот же шатающийся прут.

Сторожа не замечали его работы: шатающийся прут был в темном углу клетки.

И вот, через два месяца после того как он попал в клетку, Мурзук почувствовал, что скоро вырвется на свободу.

Прут совсем раскачался. Еще несколько сильных ударов — и он выскочит из своего гнезда в полу.

Это было под утро. Показались люди.

Мурзук давно научился терпению. Он опять залез на свой сук.

В этот день было особенно много публики в саду.

Уже давно хозяин печатал объявления в газетах, что со дня на день ожидается прибытие из Африки человекообразной обезьяны. Наконец ее привезли.

Это была самка шимпанзе.

В родном лесу у нее остался детеныш, которого она кормила своим молоком.

Всю дорогу ее держали связанной. Теперь выпустили в просторную клетку и развязали путы.

Увидев, что из клетки вырваться нельзя, обезьяна пришла в бешенство. Она яростно бросалась на стены, кусала и дергала прутья, выла и била себя кулаками в грудь.

Когда и это не помогло, обезьяна впала в ужасное отчаяние. Она села на землю, схватила себя руками за волосы и стала раскачиваться. Хриплый вой перешел в беспомощный плач.

Люди отворачивались от клетки.

А звери начали кричать.

Заплакали шакалы, всхлипывая, как дети. Завыла, захохотала гиена. Медведи и волки заметались в своих клетках.

Раскатистое рычанье льва утонуло в общем крике зверей.

Публика в страхе бросилась к выходу.

Джекобс, почуяв недоброе, послал одного из сторожей за винтовкой, другому велел вызвать пожарную команду. Звери еще ни разу не приходили в такое возбуждение.

Пронзительно кричали птицы.

Высоко задрав хобот, неистово трубил слон.

Всегда спокойная рысь кидалась на решетку своей клетки.

Джекобс заметил, что один из прутьев дрожит и качается при каждом ударе.

Подбежал запыхавшийся сторож и подал американцу винтовку.

Джекобс поспешно направился к Мурзуку. Со всех сторон из клеток сверкали налитые кровью глаза.

В эту минуту сзади раздался испуганный крик сторожа.

Американец быстро обернулся. Он увидел, как белый медведь с треском распахнул сломанную дверцу своей клетки.

Огромное тело зверя грузно вывалилось наружу.

Но через мгновение медведь с ревом вскинулся на задние лапы и шагнул к американцу.

Американец понял, что сейчас рассвирепевшее чудовище сомнет его под собой.

Он вскинул винтовку.

Мушка плясала у него перед глазами, никак не попадая в разрез прицела.

Джекобс выпустил наугад все пять пуль своей винтовки. Зверь вдруг перестал реветь, закачался и рухнул на землю. Одна из пуль попала ему в глаз, другая — в ухо.

Джекобс, не глядя, вставил в ружье новую обойму.

— Рысь! — закричал он сторожу. — Прут качается.

Сторож подбежал к клетке Мурзука.

Мурзук изо всей силы бросился на решетку.

Прут погнулся и выскочил из гнезда в полу.

Сторож испуганно вскрикнул.

Голова зверя просунулась наружу.

— Стреляйте! — закричал сторож и побежал назад.

В это мгновение сильная струя воды ударила в глаза Мурзуку. Ослепленный, испуганный зверь отскочил от решетки.

Вода из брандспойта валила его с ног.

Пожарные быстро подставили к сломанной решетке переносную клетку. Выход был закрыт.

Струю брандспойта направили на других зверей. Все клетки были залиты водой.

Перепуганные звери забились в углы.

Тяжело жилось Андреичу без верного друга. Здоровье стало совсем плохое. Старик с трудом передвигал ноги.

С тех пор как американец увез Мурзука, прошло уже три месяца. Надвигалась суровая северная зима.

«Пора, видно, пришла мне помирать,— подумал Андреич.— Перед концом хоть друга повидаю в последний раз. А там и на покой можно».

Старик подал прошение об отпуске и отправился в путь-дорогу.

За тридцать лет житья в сторожке Андреич крепко свыкся с лесом. Трудно пришлось ему в городе. Насилу разыскал зверинец.

Старик купил у входа билет и пошел искать Мурзука.

Первыми шли клетки с птицами.

В углу, отгороженном высокой проволочной сеткой, Андреич увидал большую, незнакомую ему птицу.

Она сидела на сухом дереве, вся скорчившись и сутуло вобрав в плечи крючконосую голову на длинной голой шее. Птица подняла оба огромных темных крыла над головой, словно хотела ими закрыться от всего, что видела кругом.

«Гриф»,— прочел Андреич надпись на дощечке. И подумал: «Тошно, поди, тебе здесь. Привык в поднебесье летать».

Дальше плавали в бассейне разных пород утки, гуси, лебеди, чайки. По краю водоема важно расхаживал длинноногий журавль и сновали мелкие кулички.

Андреич сразу заметил, что над бассейном не было сетки.

«Должно, ручные,— подумал он.— Только что же они больно невеселые?»

Одна из чаек приподнялась с воды и замахала в воздухе обрубками крыльев.

Старик торопливо отвернулся. Он стал глядеть на просторную клетку с целой стаей чижей, снегирей, щеглят и других певчих птиц.

Они напевали и чирикали, неугомонно перепархивая с ветки на ветку.

Только один красногрудый снегирь сидел нахолившись внизу, на кормушке с конопляным семенем.

Андреич внимательно поглядел на него и покачал головой.

— Слышь, сынок,— обратился он к стоявшему рядом с клеткой сторожу,— эту птаху, что на кормушке сидит, хохлится, отсадить бы надо. Больная. Гляди, глаза закрыла. Пропадет к утру.

— Сами знаем! — грубо сказал сторож. — Не наша печаль больных подбирать. Там у них,— сторож кивнул на клетку,— санитары есть. Небось, подберут.

Андреич в недоумении посмотрел на клетку. О каких санитарях говорил ему сторож?

Вдруг из дырки в дальнем углу выскочила крыса, стремглав пронеслась по клетке и скрылась в другую норку. Сейчас же за ней высунулась вторая, понюхала воздух и юркнула назад, мелькнув длинным голым хвостом.

Старик вздрогнул и поспешно пошел дальше.

Перед ним потянулся длинный ряд клеток с белками, зайцами, лисами.

Старик не узнавал знакомых зверей. Он привык их видеть живыми, быстрыми, мелькающими в траве и ветвях. А тут, в клетках, сидели словно чучела их, с тусклыми, мертвыми глазами и вялыми движениями, ко всему равнодушные.

Толпа народа стояла у клеток с бурыми медведями.

Один из зверей сидел на краю своей клетки. Ноги он свесил вниз и передними лапами держался за прутья загородки.

В глазах медведя Андреичу почудилась такая тоска, что он поскорей отвел от них взгляд.

Он с тревогой искал глазами Мурзука.

До него донеслись слова какой-то женщины, указывавшей детям на толстоголового быка с облезлой шерстью на дряблой морщинистой коже.

— Этот зубр так стар,— говорила женщина,— что никогда не ложится. Он боится больше уж не встать. А спит, прислонившись боком к стене. Устанет один бок, он приткнется другим — и дремлет.

Жалость и тревога росли в груди Андреича. За все тридцать лет жизни в лесу он ни разу не видал дряхлого зверя. Там, среди животных, существовал закон смерти на ходу. Здесь звери и птицы не жили — прозябали взаперти, когда были полны сил и здоровья, и долго мучились, одряхлев, дожидаясь запоздалой смерти. Старик со страхом думал о Мурзуке. Признает ли он хозяина? Теперь ему все люди должны казаться врагами.

Публика запрудила проход у клетки леопарда.

Над шапками и шляпами Андреич увидел знакомую голову зверя с бакенбардами и черными кисточками на ушах.

Старик заволновался. Он попробовал пройти сквозь толпу, но его оттеснили.

Тогда, не соображая, что делает, он полез через невысокую деревянную загородку, отделявшую клетки от публики. Кто-то испуганно крикнул ему:

— Дедушка, берегись!

Но было уже поздно: старик приник лицом к решетке.

Публика ахнула, рысь широким прыжком кинулась на старика.

Тут произошло то, чего никто не ожидал: рысь лизнула старика прямо в губы и радостно заурчала.

— Узнал, сынок, — бормотал Андреич, забыв обо всем кругом себя, — узнал, родимый!

Он просунул руки за загородку и гладил костлявую спину зверя.

Публика пришла в неистовый восторг.

— Ай, дедушка! Ну, молодчина! Видно, прежде его был зверь. Зверь-то — вот умный, как собака! Признал хозяина!

— Прошу разойтись! — раздался вдруг резкий голос за спиной зрителей. — Гражданин, потрудитесь сейчас же выйти за барьер.

Мурзук грозно зарычал. Андреич обернулся.

Перед ним стоял Джекобс, сердито нахмутив брови.

— Дозвольте, мистер, с сынком проститься? — робко попросил старик.

— Выходите, я вам говорю! — закричал американец. — За барьер ходить строго воспрещается.

— Да зверь его не тронет,— заступился кто-то из публики.

— Сторож! — позвал Джекобс.— Как вы смеее допускать такое безобразие! Сейчас же выведите старика.

— Уйду, уйду! — заторопился Андреич, еще раз погладил тощие бока Мурзука и, кряхтя, полез через загородку.

Публика бросилась помогать ему. По адресу Джекобса посыпались ругательства.

Андреич испугался скандала. Он старался поскорей отойти дальше от клетки.

Мурзук рычал и рвался ему вслед.

Не так просто было Андреичу избежать расспросов публики. Его обступили, просили рассказать, где он поймал рысь, долго ли держал, почему зверь так любит его.

Только через полчаса Андреичу удалось скрыться от любопытных в какой-то узкий, зловонный проход между задами клеток.

Андреич устало прислонился к стене. В голове у него стоял шум. Старик припомнил все, что видел в зверинце. Он много бы отдал, чтобы выкупить отсюда любимого зверя. Но Андреич отлично понимал, что новые хозяева ни за что не выпустят свою жертву.

Отчаяние брало старика: оставить Мурзука на такое мученье!

В проходе было темно и тихо. Андреич невольно прислушивался,— не услышит ли еще раз голос Мурзука?

Понемногу он стал различать тонкое, жалобное мяуканье рыси. Оно слышалось где-то совсем близко, точно Мурзук был рядом.

Андреич взглянул на стену. Его глаза различили в ней железную дверь и железный засов на ней.

«Это его клетка! — сообразил старик.— Он здесь рядом».

Неожиданная догадка мелькнула у него в голове: вытащить вот этот засов — и Мурзук выйдет на волю!

Сейчас же в груди захолонуло от страха.

«А как поймают? Тогда пропали оба!»

Опять за стеной слышалось тоскливое мяуканье.

«А будь что будет! — решился Андреич. — Тот не человек, кто об звере не сочувствует и за себя трусит».

Старик дернул засов. Железо громко звякнуло, и тяжелый болт упал на землю.

Андреич испуганно оглянулся.

Мимо прохода быстро прошагал Джекобс.

Андреич проворно выбрался через другой конец прохода.

В саду было светло. Громко играл духовой оркестр, визжала публика на «американских горах».

Андреич торопливо шагал к выходу. Ему казалось, что сзади его догоняет Джекобс, и он не смел оглянуться.

Мысли путались.

«Догадаются, кто засов отодвинул? А что, если Мурзук меня сейчас здесь нагонит? Вырвется — застрелят! Либо сторож прежде зверя заметит, что болт вынут».

Эта последняя мысль больше всего напугала старика: вдруг не удастся побег Мурзука? И опять Андреич вспомнил торчащие ребра рыси, тоскливые глазки медведя, птиц с подрезанными крыльями, больного снегиря.

Жалость с новой силой охватила старика.

«Там будь что будет, лишь бы Мурзук вырвался!» И долго еще, уже подходя к вокзалу, старик упрямо твердил:

— Тот не человек, кто об звере не сочувствует!

Глава десятая

МИСТЕР ДЖЕКОБС ТРЕНИРУЕТСЯ

Наутро после появления Андреича мистер Джекобс поднялся очень рано.

У него была привычка перед отправлением на службу упражняться в стрельбе из мелкокалиберки.

Жил он рядом со зверинцем. Задней стеной его дом выходил на пустырь.

На пустыре была большая лужа и свалка разного мусора и отбросов. Сюда собирались голуби, галки, вороны; Джекобс стрелял их с чердака.

— Меткая стрельба пульей, — говорил он, — требует ежедневной тренировки. И непременно по живой цели.

После случая в зверинце Джекобс хотел быть уверенным в своем выстреле. Он хорошо знал, что только счастливая случайность помогла ему свалить двумя пулями вырвавшегося из клетки медведя.

И в это утро, быстро одевшись, Джекобс схватил винтовку и поднялся на чердак.

На чердаке было темно. Только через отверстия в крыше падал узкими полосами мутный свет.

Мистер Джекобс подошел к одному из этих отверстий и выглянул наружу.

Внизу на куче мусора, около лужи, сидела стая голубей. Птицы не замечали стрелка.

Джекобс тщательно, с упора выцелил одну из них и выстрелил.

Раненный в крыло голубь судорожно забился и покатился с крутой кучи. Стая взлетела, но снова опустилась на землю: кругом никого не было видно.

Джекобс прицелился в другого голубя.

В это время сзади него что-то зашуршало.

Он обернулся.

Ему почудилось, будто два блестящих глаза смотрели ему в спину и мгновенно потухли, как только он повернулся к ним лицом.

«Кошка!» — подумал Джекобс.

Он снова стал прицеливаться в голубя.

Но неприятное ощущение устремленных в спину глаз не покидало его. Он никак не мог сосредоточить внимания на своей цели.

— Брысь! — громко крикнул он в темноту.

В углу опять послышался легкий шорох.

На мгновенье Джекобс увидел под черным сводом крыши два горящих глаза. И снова ничего не стало.

— Что за черт! — выругался американец. — погоди же, я тебя живо сниму оттуда!

Он нервничал и злился на себя за это.

Теперь он успел уже немного привыкнуть к темноте. В том месте, где минуту тому назад зажглись таинственные глаза, он различил нагроможденные друг на друга пустые ящики.

Джекобс поднял винтовку и наугад выпалил в один из них.

Пустой ящик с грохотом слетел на пол.

В полосе света мелькнула голова и белая грудь рыси.

Одна из пуль, как ножом, срезала конец короткого хвоста зверя.

Потом тяжелое тело рыси со всего маху ударило стрелка в грудь. Он упал.

Винтовка с треском ударилась об пол — и все смолкло.

А через полминуты крупная рысь выскочила через узкое отверстие и исчезла за поворотом крыши.

Мурзук оглянулся.

Сзади лежал большой пустырь. С трех других сторон тянулись бесконечные крыши и глубокие провалы улиц между ними.

Выбора не было: он должен был избегать открытых мест.

Мурзук добежал до конца крыши, слез на землю, перескочил на другой дом, там на третий — и так направился к центру города.

На улицах уже показались прохожие.

Шли на завод рабочие. Один из них случайно поднял голову вверх и удивленно крикнул:

— Гляди, какая кошка громадная!

Но Мурзук уже скрылся за трубу.

А в зверинце в это время сторож заметил исчезновение рыси и поднял тревогу. Он клялся, что ночью дважды обходил клетки и все звери были на местах.

Он не мог знать, что уже под утро Мурзук случайно прислонился к задней дверце и неожиданно очутился в узком проходе между клетками.

И никто не видал, как зверь осторожно прокрался через весь сад, перелез через высокую ограду и взобрался на первый попавшийся дом; как он спрятался в пустых ящиках на чердаке и встретил там своего врага.

Глава одиннадцатая

СТРАХ

Было три часа дня, когда толстенький учитель вышел из школы и сел в трамвай.

Он только что рассказывал детям о диких крово-

жадных зверях, которые рыщут в дремучих лесах. Он так увлекательно описал охоту на них, что несколько мальчиков решили бежать в тайгу, когда кончат школу.

Теперь учитель ехал домой и думал, что он и сам бы не прочь поохотиться на медведя или тигра.

На первой же остановке в вагон ворвался маленький газетчик. Он размахивал сложенным листком и кричал:

— Вечерний выпуск! Страшное убийство человека зверем! Зверь бродит по городу. Остерегайтесь ходить на чердак!

— Господин! — обратился он вдруг к учителю. — Купите газету: ваша жизнь в опасности!

— Что такое? Что ты выдумываешь? — подскочил толстенький учитель. — Давай сюда газету.

На первой странице было напечатано крупными буквами:

«Сегодня ночью из клетки зоологического сада вырвалась рысь. На чердаке соседнего с садом дома в луже крови обнаружен труп служащего из зверинца. Зверь-убийца еще на свободе».

Дальше, в большой, наспех составленной заметке, сообщалось, что рано утром рысь замечена прохожими на крыше одного из домов за три квартала от зверинца. Днем в центре города трубочист чуть не был сброшен зверем с крыши пятиэтажного дома.

Тут же было помещено подробное описание рыси, ее образа жизни, необычайной кровожадности, ловкости и силы.

Судя по этой статье, выходило, что рысь гораздо опаснее тигра, льва и вообще всех хищных зверей.

Статья кончалась словами:

«Всякий хищный зверь, хоть раз отведавший человеческой крови, теряет страх перед людьми и становится людоедом.

Не желая способствовать панике в городе, мы все же не можем не посоветовать всем обывателям нашего города тщательно остерегаться встречи с рысью, в особенности избегать темных чердаков.

Приняты все меры, и мы не сомневаемся, что зверь будет пойман или застрелен в ближайшие же часы, несмотря на свою замечательную способность

прятаться и ускользать невредимым даже от опытных охотников».

Толстенский учитель опустил газету, снял пенсне и вытер холодный пот со лба. Ему уже не хотелось охотиться на диких зверей.

Он вспомнил, как месяц тому назад разглядывал рысь в зверинце. Даже в клетке она производила такое жуткое впечатление! Что, если ему придется теперь встретить ее на улице?

Мурашки забегали по спине учителя.

Он уже решил никуда не выходить из дому, пока не узнает, что зверь пойман. Дома у него висело охотничье ружье, из которого он стрелял летом рябчиков и перепелок. Он может ружье зарядить пулей и защищаться, если рысь вздумает забраться к нему в квартиру. Через десять минут вагон подошел к остановке, где учителю надо было слезать.

Всю дорогу до дому учитель поглядывал вверх, на крыши.

На углу городского сквера против его окон стояла кучка народу. Какой-то оборванец, коротенький и толстый, хвастливо уверял, что его-то рысь не тронет, потому что дикие звери бросаются только на длинных и тощих.

У толстенского учителя немножко отлегло от сердца.

Войдя в свой дом, учитель долго осматривал снизу лестницу, прежде чем по ней подняться. Его квартира была в третьем этаже, под самой крышей.

Никогда еще он с такой быстротой не отпирал ключом двери, как в этот раз.

Наконец-то он был дома! Обедать он сел только после того, как тщательно осмотрел все задвижки на окнах.

После обеда учитель протер пенсне и уселся в кресло против окна. Заряженный пулей дробовик стоял рядом с ним.

Теперь толстенский человек чувствовал себя храбрым. Он открыл форточку и стал прислушиваться к доносившимся с улицы голосам.

— Экстренный выпуск! — звонко крикнул газетчик, вывернувшись из-за угла. — Зверь все еще на свободе!

Публики на улице было мало.

Торопливо проехал извозчик, погоняя худую клячу. Седок беспокойно поглядывал вверх.

На минуту улица совсем опустела.

Вдруг белая кошка галопом промчалась через улицу в сквер. За ней широкими скачками пронесся большой серый зверь.

Оба исчезли из глаз раньше, чем учитель пришел в себя.

Он вскочил с кресла, бросился к телефону и бешено забарабанил пальцами по кнопкам.

— Алло! Дежурный? Квартальный? Алло, алло! Дежурный? Рысь! В сквере! За кошкой! Сейчас! Стойте, стойте! Запишите: сообщил учитель Трусиков.

— Да, да, кончили!

Учитель повесил трубку и снова бросился к окну.

Через пять минут примчался отряд вооруженных людей. Они цепью окружили сад.

Учитель видел, как цепь по сигналу медленно двинулась между деревьями. Люди держали ружья на изготовку.

Трусиков был доволен: рысь окружена.

Она будет убита, и все узнают из газет, что это он, учитель Трусиков, освободил город от страшного людоеда.

Глава двенадцатая

НА РЕКЕ

Ночью этого позднеосеннего дня двое бродяг сидели на каменной набережной широкой реки...

Яркая луна освещала их рваные платья и бросала густую тень на лица, скрытые круглыми козырьками кепок.

Они коротали длинную ночь, изредка перебрасываясь фразами.

— Ты чего ржешь? — спросил один, поджимая под себя длинные, тонкие, как палки, ноги.

— А вспомнил, как вчера зверя травили, а я напугался, — ответил другой, короткий и толстый.

И, не дожидаясь приглашения, стал рассказывать.

— Захожу это я днем в городской сквер — пуб-

лику поглядеть. Забрался где потемней, сел на лавочку, да и вздремнул малость.

Просыпаюсь,— что такое делается! Гляжу: цепь; все с винтовками наперевес идут нога за ногу, а сами все вверх глядят, по деревьям.

Глянул я вверх,— язви ты! прямо надо мной сидит на суку огромный серый зверь. Тут я разом смекнул: рысь это, что из клетки вырвалась. Портрет я ейный только перед тем в газетке видал.

«Эге,— думаю,— это тебя, дружище, накрыть хотят!»

Тут как раз один подошел. Спрашивает: «Не видал зверя?»

Я и говорю: «Никак нет,— говорю,— не случилось видеть».

Он и пошел. На дерево, под которым я сидел, даже и не глянул. Я голову поднял: сидит зверь на суку, не шелохнется и глаза потушил.

Подмигнул я ему: ну, говорю, товарищ дорогой, ловко мы с тобой их провели! Счастливо, говорю, оставаться! И айда из сада.

Теперь пишут, расследуют, кто его из клетки выпустил. Дознались, что третьего дня к нему приходил старик один деревенский. Адрес его ищут.

Бродяги замолчали.

Где-то в пустой улице залаяла, залилась собака.

— Ишь, надсаждается! — сказал длинноногий. — Словно бы лису гонит.

Лай продолжался.

Теперь уже ясно слышали бродяги переливчатый, со взвизгом, голос гончей, бегущей по свежему следу.

— А ведь вправду — гонит! — изумленно сказал короткий.

Он обернулся, поглядел на улицу и вдруг схватил товарища за руку.

— Летит — не поймать! Никак рысь!

Оба увидали беззвучно скачущего по темной стороне улицы зверя. Гораздо дальше, в конце длинной улицы, внезапно выскочила из-за угла собака.

Бродяги не успели сообразить, что им делать.

Рысь промчалась в ста шагах от них и шумно кинулась в воду.

— Лодку! — спохватился длинноногий. — Вон у баржи. Поймаем — награду дадут.

Оба разом бросились к барже.

Собака подбежала к реке и заметалась по берегу.

Через минуту бродяги были в лодке.

— Режь конец! — скомандовал длинноногий, вытаскивая из-под банки весло.

Коротконогий полоснул ножом по веревке, лодка оторвалась и поплыла по течению.

— Грести как же? — растерянно спросил коротконогий. Вместо второго весла в лодке лежал багор.

— Жарь багром! Догоним!

На берегу, потеряв след, досадливо выла собака, мечась по набережной.

Впереди чуть заметно мелькала голова рыси в залитых луной волнах.

Бродяги гребли изо всех сил.

Минут через пять коротконогий обернулся к товарищу.

— Близко! — зачем-то шепотом сказал он.

Рысь громко фыркала перед самым носом лодки.

— Заворачивай нос! — скомандовал длинноногий. — Я ее веслом по кумполу.

Коротконогий не послушал: ему самому хотелось убить зверя. Он ударил багром в ныряющую голову, но промахнулся.

Длинноногий перескочил с кормы на нос, оттолкнул товарища и замахнулся веслом.

Зверь плыл у самой лодки.

Длинноногий со всего маху опустил весло ему на голову.

Зверь увернулся.

Весло плеснуло по воде и выскользнуло у бродяги из рук.

— Багор! — завопил длинноногий.

Коротконогий нацелил в шею животного и метнул багор, как копьё.

В то же мгновение рысь выскочила из воды всей передней частью тела.

Багор пролетел мимо. Передние лапы зверя коснулись борта.

Скачок — и Мурзук очутился в лодке, готовый к новому прыжку.

— Скакай! — отчаянно закричал длинноногий и махнул за борт. Но коротконогий был уже в воде.

Вода была страшно холодная. Все же бродяги чув-

ствовали себя в ней лучше, чем в лодке, с глазу на глаз с разъяренным зверем.

К счастью, до берега было недалеко.

Через несколько минут бродяги, отчаянно ругаясь и отплевываясь, вылезли на набережную. Вода ручьями текла с них.

Лодка с Мурзуком плыла далеко по течению.

Глава тринадцатая КОМПАС И ТЕЛЕГРАФ

Лодка быстро вынесла Мурзука за черту города. Зверю не хотелось снова лезть в холодную воду. Он терпеть не мог воды, как все кошки, и попал в реку не по своей воле.

Светало.

Перед глазами Мурзука проплывали деревни, рощи, поля.

Дальше река делала крутой поворот.

Лодка понеслась у самого берега.

Здесь, на песчаном обрыве, тянулся сосновый бор.

Мурзук спрыгнул в воду и через минуту взобрался на кручу.

Бор был редкий и без подлеска. Спрятаться в нем было трудно.

Все же это был настоящий лес, и Мурзук в первый раз с тех пор, как покинул сторожку Андреича, почувствовал себя хорошо. Глаза его блеснули.

Мурзук быстрой кошачьей рысью побежал вперед. Ему хотелось есть, и он сильно устал, но сейчас было не до отдыха. Он не обращал внимания на маленьких птиц, поднимавшихся с земли при его приближении. Охота за ними требовала задержки, а он спешил добраться до густого леса.

Только когда дорогу ему перебежала мышь, Мурзук быстро схватил ее и съел на ходу.

Лес опускался под гору. Стали попадаться ели и березы. Деревья росли чаще. Под ногами был мягкий сырой мох.

Мурзук бежал вперед, все по одному и тому же направлению.

Сам зверь не отдавал себе отчета, куда он бежит.

Но в груди его был словно компас, который направлял его бег.

Невидимая стрелка этого несуществующего компаса указывала на северо-восток. Там, за сто километров от места, где находился зверь, стояла избушка старика Андреича и темнел родной лес Мурзука. Леса и реки, поля и деревни раскинулись между зверем и далекой целью его путешествия.

Солнце уже высоко стояло над деревьями. Мурзук пробирался теперь по густой чаще.

Наконец он выбрал сухое местечко под ветвями большой ели, примял брюхом мох и опавшую хвою и лег, свернувшись клубком. Через минуту он уже крепко спал.

Прошло часа два. В воздухе закружились снежинки.

В лесу было тихо. Только на макушке большой ели пищали крошечные корольки да цикали в ветвях синицы.

Зверь все еще спал.

Двое охотников осторожно пробирались через лес. С ними не было собаки, которая предупредила бы их о близости дичи. Они тихо раздвигали перед собой ветви, каждую минуту ожидая, что из чащи неожиданно выскочит заяц или с шумом поднимется глухарь.

Глубокий сон не помешал Мурзуку услышать издали приближение людей. Его уши даже во время сна чутко ловили малейший звук, как радиоантенна ловит легчайшие колебания электрических волн.

Уши Мурзука повернулись в ту сторону, откуда шли охотники. Глаза открылись.

Мурзук знал, что идут два человека, один справа, другой слева от него. Надо было или побежать прямо вперед или прятаться на месте.

Если бежать, люди могут заметить.

Мурзук вжался всем телом в мох.

Охотники поравнялись с ним. Они шли на расстоянии тридцати шагов друг от друга, не подозревая, что между ними лежит зверь.

Один из охотников остановился.

— Иди сюда,— негромко крикнул он другому,— и давай перекурим. В этой чаще все равно ни черта нет.

Мурзук привстал.

Под кожей у него комками вздулись мышцы: он слышал, как охотники остановились, и ждал, что они направятся в его сторону.

— Погоди! — ответил другой. — Дойдем до опушки, там закурим. В такой чаще никогда не знаешь, что тебя ждет через шаг.

Ну ладно.

И оба пошли вперед.

Комки под кожей Мурзука разгладились. Он прислушивался, пока шаги охотников затихли. Потом опустился на землю и опять погрузился в сон.

С вершины соседнего дерева на елку перепрыгнула белка. С ветки на ветку она все ниже и ниже опускалась к земле, пока вдруг не заметила под самым стволом рысь.

Зверек замер на месте, боясь неосторожным движением выдать себя хищнику. Пушистый, рыжий хвост совсем прикрыл спину, а глаза впились в страшного зверя.

Но зверь не двигался.

Прошла минута, другая, третья.

Белка устала сидеть все в той же позе. Испуг ее прошел.

Она прыгнула и быстро побежала по стволу вверх.

На большой высоте она почувствовала себя в полной безопасности и с любопытством стала разглядывать невиданного зверя.

Он лежал по-прежнему без движения.

Любопытство разбирало белку все сильнее.

Она снова спустилась книзу и уселась на нижней ветке ели.

Никак нельзя было понять: спит зверь или он мертв?

А может быть, он только притворяется?

Белка сердито зацокала и замахала пушистым хвостом. Дрогни хоть ус на морде зверя, она мгновенно очутилась бы опять на вершине дерева.

Но рысь не шевельнулась.

Ясно, что она мертва.

Любопытный зверек осторожно спустился по стволу на землю, все еще стараясь держаться подальше от мертвого врага.

Он увидал, что глаза рыси плотно закрыты.

Маленькими, неловкими прыжками белка приблизилась по земле к труп. Она опустилась на короткие передние лапки и потянулась усатой мордочкой к зверю, осторожно обнюхивая его. Как молния, сверкнули зубы рыси — и кости белки хрустнули в ее пасти.

Слуховой телеграф Мурзука работал исправно и при закрытых глазах зверя.

Позавтракав, Мурзук снова тронулся в путь по прежнему направлению.

Глава четырнадцатая СТРАШНЫЙ ВСАДНИК

Три дня Мурзук почти безостановочно подвигался вперед.

Часто по пути ему встречались села и поля. Он делал большие круги, чтобы на открытых местах не попасться на глаза людям.

Питался Мурзук в дороге впроголодь, чем придется. И когда к ночи третьего дня добрался до большого дремучего леса, почувствовал, что силы изменяют ему.

В темноте Мурзук набрел на звериную тропу. Тропа пролежала чащей и вела к болоту, куда летом косули и другие лесные звери ходили пить.

Тут можно было поохотиться за крупной дичью.

В одном месте наполовину вывороченное из земли дерево склонилось над самой тропой.

Мурзук взобрался на него и улегся ждать добычу.

Ночь была темная и холодная. Изморозь покрыла землю.

Проходил час за часом, но ни одно животное не показывалось на тропе: в холода звери лижут иней на траве и деревьях и не ходят на водопой.

Но вот уши Мурзука уловили отдаленный хруст шагов. Кто-то шел по траве.

Мурзук собрал свое сильное тело в ком и уставился в темноту расширившимися глазами.

Шаги медленно приближались.

Это не могла быть косуля: слишком тяжела была поступь. Слышно было, как под ногами животного трещат толстые сучья. Еще не зная, кто приближает-

ся, Мурзук чувствовал, что ему лучше отказаться от нападения на этого великана.

Но голод разжигал его кровожадность. Все его тело было напряжено, как тетива натянутого лука. Толчок — и трехпудовая стрела сорвется с дрогнувшего дерева.

Сучья трещали все ближе.

И вот острые глаза Мурзука различили в темноте фигуру молодого лося. Животное медленно шло по тропе.

Мурзук почувствовал страх: противник был слишком велик и силен.

Вот рога молодого лося чуть не коснулись склоненного над тропой ствола. Прямо под собой Мурзук увидел незащищенную спину животного.

И прыгнул.

Задние лапы рыси впились в хребет и в бок лося; передние мертвой хваткой обхватили могучую шею.

Лось бешено рванулся вперед и побежал по тропе, мотая головой, брыкаясь и кидаясь из стороны в сторону.

Ветви хлестали Мурзука по бокам и голове, грозя вырвать глаза. Спину в кровь рвали закинутые назад рога лося.

Мурзук ничего не замечал: все его внимание сосредоточилось на том, чтобы как-нибудь удержаться на спине обезумевшего от боли животного. Сорвись он на землю — и конец: страшный удар рогами, и за ним целый град ударов крепкими, острыми копытами в голову, в грудь, в живот. И через минуту красивое тело хищника превратилось бы в бесформенную окровавленную грудку мяса.

Лось неся по тропе с невероятной для такого огромного животного быстротой. Страшный всадник ежеминутно мог вцепиться зубами ему в загривок и перегрызть становую жилу.

Только открытое место могло спасти лося: на узкой тропе, между двумя стенами чащи могучее животное не могло развернуться и сбросить со спины рысь.

Бешеная скачка продолжалась, и никто не мог бы сказать, кто осилит: всадник или конь.

Вдруг перед налившимися кровью глазами лося мелькнул просвет: чаща кончилась.



За ней начиналась большая поляна.

Лось вылетел на нее со всего маху — и сразу погрузился по брюхо в топкое лесное болото.

Напрасно он напрягал всю свою огромную силу, стараясь вытянуть увязшие передние ноги.

Его тяжелое тело все глубже погружалось в топь.

Мурзук скользнул на шею животному и впился в загривок.

Через минуту лось страшно захрипел и повалился на бок.

Мурзук победил.

Глава пятнадцатая

ОБОРОТЕНЬ

Деревенский староста был очень удивлен, неожиданно получив бумажку с приказанием немедленно арестовать и препроводить в город лесного сторожа Андреича.

Староста давно знал Андреича и никак не мог взять в толк, чем мог старик провиниться перед начальством.

Однако долго рассуждать не приходилось: в бумажке было ясно сказано, что надо делать.

Староста вызвал двух объездчиков и передал им приказание начальства. Объездчики уже пошли было снаряжаться, но тут случилось такое, что их помощь немедленно потребовалось здесь же, в селе.

В избу к старосте с криком и плачем ворвалась целая толпа баб. Бабы были страшно напуганы и так галдели, что долго ничего нельзя было разобрать.

Кричали, что в селе появился оборотень.

Староста велел вытолкать всех их из избы. Оставил только одну, поспокойней, и велел рассказывать все толком.

Оказалось, накануне вечером бабы от нечего делать — мужчины все были на станции, на работе — собрались на посидки. Как водится, песни играли и рассказывали сказки. Одна рассказала очень страшное — про оборотней.

— А утром — с полчаса тому — старуха Митревна этого самого оборотня и увидала.

Дело было так.

Пошла Митревна выпускать овец из хлева. Глядит, дверь распахнута, овец нет, а одна лежит на земле наполовину съедена.

Митревна за сарай, а там овцы. Забились к забору, стоят в куче, дрожат и от каждого стука шарахаются. Тут уже ей сразу в голову взбрело, что нечистой силой пахнет.

Только хотела соседку кликнуть, глядит — соседкин черный кот с плетня — и к ней через двор.

Дошел до сарая, да как фыркнет, хвост трубой и назад бегом!

Тут-то оборотень и вывернулся — как из-под земли вырос!

Сам с собаку, лицо кошачье, да с бородой, хвост куцый, а шерсть белая, как мука.

Прыг на кота, разорвал зубами и махнул через забор, как через грядку, — словно у него крылья выросли.

Грохнулась Митревна оземь с испугу, завопила. Бабы сбежались...

Узнали, в чем дело, — и к старосте. «Не пойдем, — говорят, — в избы, пока оборотня не убьете и мы собственноручно ему кол осиновый в спину не загоним».

Староста распорядился: объездчикам немедленно к Митревне отправиться при винтовках и револьверах. И сам с ними пошел.

Нашли в хлеву овцу, наполовину съеденную, нашли и разорванного черного кота. Обошли плетень и увидали на снегу большие круглые следы неизвестного зверя.

Сейчас же староста всех парней на ноги поставил. Взяли собак и пошли по следу.

Это было днем, а что было до того ночью — так никогда и не узнали в деревне.

Все еще спали, когда Мурзук подкрался по лесу к самой околице. С тех пор как он убил и съел лося, прошло уже несколько дней, в эти дни он опять мало ел и наконец сильно проголодался. Он услышал из лесу бление овец — и смело пробрался в деревню. По крыше сарая добрался до хлева.

Овцы всполошились, но Мурзук ударом лапы свалил одну из них. Другие распахнули дверь и вырвались на двор.

Мурзук спокойно принялся за еду.

Он успел съесть половину овцы, когда Митревна вышла выпускать скот.

Завидев ее, Мурзук спрятался в сарай.

Там стояли мешки с мукой, и он весь выпачкался в мучной пыли.

Через притворенную дверь сарая Мурзук разглядывал, что творится на дворе.

Один вид черного кота привел его в ярость. Забыв всякую осторожность, Мурзук выскочил из сарая и на глазах у женщины тут же растерзал кота.

Следы больших круглых лап рыси ясно отпечатались на рыхлом снегу. Собаки быстро побежали по ним к лесу.

Сзади спешил целый отряд стрелков.

Мурзук в это время уже спал, забравшись в чащу.

Глава шестнадцатая

ТРАВЛЯ

Впереди бежала матерая гончая, вся черная, с рыжими подпалинами. Она уверенно и быстро вела всю свою стаю в глубь чащи.

Собак было больше десятка. Они визжали и тявкали.

Мурзук слышал их издали.

Он сразу понял, в чем дело. Не теряя ни минуты, вскочил на ноги и, скользя меж кустами, побежал в глубину леса.

Хорошая собака легко может догнать рысь.

Мурзук знал, что ему несдобровать, если он как-нибудь не обманет своих преследователей. И он пустился на хитрость, чтобы сбить их со следу.

Он повернулся и побежал назад, прямо навстречу собакам, старательно ступая по старому следу.

Пробежав так немного, вдруг круто прыгнул в сторону — сделал скидку — и пошел петлять, все больше и больше запутывая след.

Собаки живо разыскали лежку зверя.

По их неистовому лаю люди поняли, что собаки подняли зверя и гонят по теплomu следу. Стрелки по-

лукругом рассыпались по лесу, чтобы не упустить зверя, когда свора завернет его обратно.

А собаки уже добежали до «двойки», где Мурзук шел назад по своему следу. Сгоряча они проскочили вперед — и неожиданно потеряли след.

Напрасно они растерянно бегали кругом, сбнюхивая землю: зверь точно на крыльях поднялся.

Только опытная гончая сразу поняла хитрую уловку.

Она вернулась до конца двойного следа и тут дала большой круг.

Скидка рыси оказалась в кустах за три метра от следа.

Гончая подала голос, и вся свора сейчас же бросилась за ней.

Собаки быстро распутывали петлю за петлей.

Гончая первая заметила, что след обрывается у корней толстого, сильно наклоненного к земле дерева. Она обнюхала ствол, и ей стало ясно, что рысь взобралась по нему вверх.

Собаки бешено запрыгали вокруг дерева.

Скоро подросли стрелки.

Теперь зверь был у них в руках. Собаки сделали свое дело: загнали его на дерево. Стрелкам оставалось только свалить рысь оттуда меткой пулей.

Дерево было густое, и зверя не было видно в ветвях.

Один из стрелков стал сильно стучать прикладом по стволу, чтобы выпугнуть зверя. Другие приготовились стрелять.

Зверь не показывался.

Тогда стрелок выпалил, целясь вдоль ствола.

Опять неудача.

Стало ясно, что на дереве рыси нет.

В это время гончая снова затыкала в чаще. Там опять начинался след рыси.

Оказалось, зверь пробежал вдоль всего склоненного к земле ствола — и сильным прыжком перенесся далеко в чащу.

Снова начался гон.

Мурзук в эту минуту бежал уже далеко впереди. Последняя хитрость помогла ему выиграть время. Но вот опять по его пятам понеслись собаки.

Положение было безвыходное. Если просто бежать вперед — догонят собаки. Спрятаться на дерево — охотники застрелят.

Зверь начинал уставать. Собаки наседали.

Травля близилась к концу.

Неожиданно Мурзуку пересек дорогу быстрый лесной ручей. Вода еще не замерзла в нем.

Мурзук соскочил в воду и бежал по дну, пока ручей не вышел из лесу на большую вырубку.

На опушке Мурзук забрался в кустарник и лег.

Теперь, наконец, он мог отдохнуть: собаки не скоро найдут след, пропавший в воде.

Но старая гончая знала и эту уловку.

Потеряв след в ручье, она пустилась вдоль берега и через несколько минут привела свору к густому кустарнику на краю большой вырубки.

Гончая залилась «по зрячему».

На открытой вырубке собаки быстро догоняли утомленную рысь. Если они сами не сумеют задушить зверя, они удержат его, пока прибегут охотники.

Спасенья не было.

Мурзук отчаянными прыжками старался уйти от своры, чтобы первым достигнуть леса.

Но старая гончая и с ней три самых быстрых собаки были уже близко.

Сзади за деревьями поспевали люди.

Вдруг Мурзук, как скошенный, кувырнулся в снег.

Падая, он опрокинулся на спину, мелькнув в воздухе лапами.

Стрелки видели, как четыре собаки сразу накинулись на зверя.

Стрелки опустили ружья: собаки разорвут зверя в клочья.

Но что такое случилось с ними?

Ударом лапы зверь разmozжил голову старой гончей.

Три других собаки, раненые, с воем осели в снег: Мурзук работал сразу всеми четырьмя лапами.

Раньше, чем подоспела отставшая стая, он снова уже был на ногах и огромными прыжками скрылся в лесу.

Вокруг него защелкали по деревьям пули растерявшихся стрелков.

Но Мурзук хладнокровно бежал вперед, не забывая время от времени делать скидки.

Оставшиеся без опытного вожака собаки скоро совсем потеряли след зверя.

Напрасно охотники до самого вечера бродили по лесу.

Они вернулись домой с пустыми руками.

Глава семнадцатая

ДРУГ

Андреич сидел на крыльце своей избы, опустив на руку седую голову.

Он недавно вернулся из лесу. Козы с утра ушли со двора. Старик долго старался загнать их домой, но упрямые животные никак его не слушались.

Уже месяц, как сдохла старая корова Андреича, и старик питался с тех пор одним козьим молоком.

Сегодня он еще ничего не ел и совсем ослаб. Сил не было подняться и снова брести в лес загонять коз.

Старик вспомнил, как ловко делал это его верный Мурзук, и тяжело вздохнул. Ему сильно захотелось узнать, что случилось с его любимцем. Бежал ли он из зверинца и бродит теперь где-нибудь по лесам? Или медленно умирает в клетке?

Быстрый стук копыт по мерзлой земле заставил старика поднять голову.

Он с удивлением увидал, что козы бешеным галопом мчатся по лугу прямо к нему в ограду.

«Уж не медведь ли?» — тревожно подумал Андреич.

Козы пронеслись по двору и в испуге забились в хлев.

В ту же минуту в воротах показалась рысь и широкими прыжками кинулась на грудь старику.

— Сынок?! — только и мог выговорить Андреич, обнимая лохматую голову зверя.

Только через час вспомнил Андреич, что голоден. Он подоил козу и поделился молоком с другом.

— Это тебе гостинец, — сказал он Мурзуку. — А теперь ступай-ка в лес, промысли себе дичинки на обед.

К ночи только назад ворочайся; вместе-то все веселей.

Мурзук послушал хозяина, лизнул ему руку, повернулся и пошел в лес.

Только тут старик заметил, что хвост зверя словно обрублен.

«Где же это его так обкорнали?» — подумал старик.

Но раздумывать об этом было неприятно.

«Теперь злое миновалось», — радостно подумал Андреич и закрыл глаза.

Осеннее солнце ласково грело его больное тело.

Старик задремал на крылечке.

Его разбудил грубый окрик.

— Эй, старина, подымайся! Арестовать тебя приехали. Собирай манатки — и айда за нами!

Сперва Андреич ничего не мог сообразить.

Перед ним стояли двое объездчиков с винтовками за плечами. Они держали за собой лошадей в поводу.

— Что вы, родные! Али подшутить вздумали над стариком?

— Шутки тебе в городе покажут! — сурово сказал один из объездчиков. — Велено тебя на станцию доставить.

— Наше дело сторона, — миролюбиво добавил другой, помладше. — За что про что — нам неизвестно. Сам-то ты, поди, лучше нашего знаешь.

Слово «город» сразу все объяснило Андреичу.

«Добрались-таки! — подумал он. — Ну, что же: мне так и так помирать. Навряд и до города доvezут. Зато хоть Мурзук на воле».

Старик не чувствовал никакой вражды к тем, кто хотел привлечь его к суду за его поступок.

— Видно, уж так тому и быть, — спокойно сказал он. — А вина за мной есть. Пожалел я, родные, зверя одного. Из клетки выпустил в городе. Зверь этот воспитанник мне был и первый друг.

— Это какой зверь? — любопытствовал младший из объездчиков.

— А рысь.

Объездчики переглянулись.

— Рысь? — переспросил старший. — Куцая?

— Куцая. Должно, в зверинце это ее обкорнали.

— Так и есть! — сказал старший. — Да тебя за

этакого воспитанника расстрелять мало. Он у нас вчера лучшую на селе собаку убил. Обожди, мы еще с него шкуру спустим.

— Ну, чего стал! — набросился вдруг он на Андреича. — Некогда нам с тобой тут ляды точить! Сматывайся живей!

— Да я весь тут, — сказал Андреич. — Обожди только — шапку возьму.

Он сообразил, что надо скорей отправляться со двора. А то вернется Мурзук, и обозленные объездчики тут же пристрелят его.

Спустя две минуты Андреич вышел из ворот. По бокам его была стража.

Старик обернулся в последний раз взглянуть на свою избу — и вздрогнул: сзади его догонял Мурзук.

Старший объездчик тоже оглянулся и увидел рысь.

Он быстро сдернул с плеча винтовку, приложился и выстрелил.

Пуля щелкнула в избу, отхватив узкую щепку.

Одним прыжком Мурзук бросился на круп лошади, но сорвался. Кони рванули. Что-то крикнул Андреич.

Но рядом с ним уже никого не было.

Перепуганные кони мчались по лугу. Седоки могли думать только о том, чтобы как-нибудь удержаться в седле.

Мурзук гнался за ними.

Седокам удалось остановить понесших коней только за километр от лесной сторожки.

Нельзя было и думать вернуться назад верхами.

Они решили доложить о происшедшем старосте и завтра потребовать себе подкрепление для охоты за зверем и для ареста старика.

Мурзук не сразу вернулся домой. Он опять скрылся в лес и занялся там охотой.

Ему посчастливилось набрести на тетеревов.

Беззвучно подкрался зверь из-за куста и схватил старого косача в то мгновение, когда тот поднялся с земли.

Однако есть добычу Мурзук не стал. Он придушил птицу и с нею в зубах вернулся к хозяину.

Андреич сидел на земле, прислонившись спиной к ступенькам крыльца. Глаза его были закрыты.

Мурзук положил дичь к его ногам и легонько ткнул старика носом.

Андреич медленно повалился на землю.

Мурзук прильнул к нему лохматой мордой, поднял голову и тихо, тоскливо завыл.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Когда на следующий день отряд объездчиков окружил лесную сторожку, труп Андреича еще лежал на ступеньках крыльца. Но все поиски рыси не привели ни к чему. Мурзук исчез.

Проходил месяц за месяцем. В избушке Андреича поселился новый лесной сторож.

Скоро в окрестных деревнях забыли одинокого старика. Забыли и его ручного зверя. Однако в разных провинциальных газетах стали появляться заметки о необычайно крупной и дерзкой рыси.

Писали, что зверь то тут, то там делает набеги на деревни, режет скот и разрывает домашних кошек. Попытки застрелить его неизменно кончаются неудачей. По короткому обрубку хвоста и замечательному знанию людских привычек в этом бесстрашном звере легко было признать Мурзука.

Последнее известие о нем промелькнуло в одной из газет северной окраины нашей страны.

Спасаясь от преследования, Мурзук забрался в глубину леса, где следы его затерялись в густой чаще.

Там, на Севере, Мурзук нашел себе надежное убежище.

РОЗОВОЕ И ОЛИВКОВОЕ

Я пришел домой с прогулки, вынул из кармана коробку с ватой и осторожно открыл ее.

В вате лежало маленькое яичко — такое хрупкое на вид, что я сразу не решился взять его огрубевшими пальцами. Выкатил его из коробки себе на ладонь.

Яичко было прекрасно, как жемчужина, вытянутой, удлиненной, совершенной формы.

Сияющая, оливкового цвета живая жемчужина! Цвета свежих ивовых листьев. Без пятнышка, без малейших крапинок.

Внутри нее теплилась маленькая жизнь — неведомая, таинственная, еще не готовая родиться на свет. Просвечивала розовой теплотой.

Нет красок, чтобы передать на бумаге или полотне живую прелесть сочетания этих цветов. На картине розовое смешивается с оливковым — получится муть, грязь. Здесь розовое и оливковое составляют одно целое, но чудесным образом не сливаются, существуют сами по себе: розовое — чтобы в свой срок превратиться в крылатое, поющее живое существо; оливковое — чтобы исчезнуть, рассыпаться в прах после его рождения.

У меня на ладони покоилось соловьиное яичко.

В моей коллекции уже были соловьиные яйца, но все шоколадного цвета. Только сегодня мне удалось, наконец, найти под кустом в заросли ив и кудрявых ольх гнездо с оливковыми яйцами.

Их было пять в гнезде. Я взял только одно, чтобы самочка не покинула гнезда и вывела остальных четырех птенцов. А мне достаточно и одного яйца. Осенью я повезу свою коллекцию в город. Горожане редко вспоминают о птицах. Пусть-ка полюбуются на такую красоту.

Так я думаю, бережно держа на ладони оливковое с розовым яичко.

Свободной рукой я достаю из стола заостренные с одного конца стеклянные трубочки. Выбираю самую тонкую из них, придвигаю к себе блюдечко, достаю булавку. Остается только сделать одну маленькую дырочку в яйце и выдуть его, выпустить его жидкое содержимое на блюдечко. Но тогда исчезнет розовое! Одним соловьем станет меньше.

Правда, соловьев много вокруг деревни, где я живу. Как наступили долгие дни и теплые белые ночи, воздух наполнился ивовой белой пушицей, — принялись они щелкать круглые сутки.

Вчера днем ко мне в окно доносился свист соловьев.

— Когда же они спят-то? — удивленно спросил меня Смирька, восьмилетний соседский парнишка.

А вечером, когда в одиночестве меня тоска взяла и я уселся на крылечке — покурить, подумать, как-нибудь разобраться в себе, как они свистели, как щелкали!

Гляжу, и Смирька ко мне подсаживается: и ему не спится, не знает, куда себя деть.

Ну, пусть сидит, думаю, он не мешает. Сидим, думаем каждый про свое. И соловьи свое поют.

Вдруг резкий крик дергача резнул слух.

— Грязь-грязь! Грязь-грязь! — тужится, скрипит сквозь туман дергач на сыром лугу.

— Сало! Сало! Пек, пек, пек! — легко, бархатисто выводят в кустах соловьи. — Сало!

— Грязь! Грязь! — орет дергач.

Так они долго, без усталости спорят друг с другом, и мы со Смирькой невольно вслушиваемся.

Сперва кажется: все соловьи поют одинаково, и им ужасно мешает скрип дергача. Но стоит только немножко вслушаться, и вот дергач — сам по себе и соловьи — сами по себе. Сразу и вместе они, и отдельно. Как розовое и оливковое в яичке.

Соловьиные песни тоже разные. Один поет совсем близко — в лядинке через дорогу от нас — в сыром лиственном леску. Его голос слаб и высок. Некоторые ноты выходят у него резковато; он даже срывается иногда с голоса: совсем еще молод, видно.

Голос другого ниже и сильнее, песни дольше. Он уверенно берет трудные низкие ноты и не срывается на верхах. Он дальше: под горкой, за банями. А кажется — тут же в лядинке поет. Хороший музыкант.

Но, когда запел третий, — душа всколыхнулась!

Ничего, что он всех дальше от нас — через поле, в зарослях ив и ольх; каждая нотка его песни слышна отчетливо. Его густой, мощный свист легко покрывает натужный скрип дергача. Какой певец!

Его клопочущие трели великолепны. И как смело он переходит от томных, за душу берущих низких нот к дерзкой «лешевой дудке»¹.

Замер на низких и вдруг — фиулит! — вырвал свистом, да с каким росчерком! И замолк.

— Здорово? — в восхищении спрашиваю Смирьку.

— Дивья! — притворно-пренебрежительно говорит Смирька. Но и он доволен. И вспоминает из басни: — А верно, что «петь великий мастерище».

Какая уж тут тоска: самому хочется петь и жить, жить — радоваться!

¹ Одно из колен соловьиной песни: сильный, резкий свист.

Очнулся я от дум. На ладони оливковое яичко. Нет, не стану я выдувать его! В нем — птенчик нашего замечательного певца. И кто знает: не заключен ли в этой тонкой скорлупе такой же чудесный дар песен? Отнесу яичко обратно в гнездо, в заросль.

В заросли крики Смирьки и звонкий визг его сестренки. И скрипучий, неприятный птичий голос.

Спешу напролом через кусты и хворост. Но я опоздал.

— Гляди, как я в нее! — кричит мне Смирька. — Прямо в лоб шмякнул!

Его сестренка смеется и грязными пальцами размазывает по своему розовому лицу крошечный желток. Знакомое гнездо под кустом выворочено, в нем пусто.

— Смиреха! Смиреха! — говорю я с тоской. — Что ты наделал! Ведь это гнездо того самого соловья, которого мы вчера слушали.

— Не! — весело откликается Смирька. — Это вон какой птешки, вон скрипит в кусту!

Серая птичка перепрыгивает невдалеке с ветки на ветку, дергает хвостом и скрипит, скрипит...

Откуда бы знать Смирьке, что прославленный соловей — «петь великий мастерище» — в тревоге за свое гнездо стонет неприятным, скрипучим голосом? И что могло помешать ему разорить гнездо этой невзрачной «пташки», когда кругом все ребята, да и отцы их при случае, походя, разоряют все попавшиеся на глаза птичьи гнезда?

Больше мы со Смирькой не слышали нашего замечательного певца: соловей покинул заросли.

Оливковое яичко я выдул.

Никогда из него не родится крылатое существо с чудесным даром песен.

Розовое перестало существовать, но оливковое не рассыпалось в прах. Об этом позаботился я, поместив его в свою коллекцию.

Теперь я думал: не повезу своей коллекции в город, отдам ее в сельскую школу, в ту самую, куда пойдет этой осенью Смирька со своими товарищами.

Может быть, хоть соловьиные гнезда они перестанут разорять?

АЛЕКСАНДР СЕРАФИМОВИЧ
СЕРАФИМОВИЧ
1863—1949

ТРИ ДРУГА

I

Утреннее не жаркое еще солнце чуть поднялось над соседней хатой и сквозь вербы задробилось золотыми лучами, а семилетний Ванятка уже слез со скамейки под образами, где ему стлала всегда матка, и выбрался из душной хаты.

Мать, худая и костлявая, с головой, повязанной ушастым платком, кидала на дворе зерно и кричала:

— Кеть, кеть, кеть, кеть!..

К ней со всех ног бежали куры, индюшки, неуклюже раскачиваясь, спешили утки, гуси. Свиньи, приподняв уши и похрюкивая, тоже торопились, разгоняя птицу, а мать на них кричала:

— Та це!

Ванятка ухватил хвостину и, радостно визжа, стал гонять хрюкавших и повизгивавших свиней.

— Гони их на улицу! — закричала мать.

Ванятка, забегая то спереди, то сзади, стегал хвостом кидавшихся во все стороны свиней. Свиньи не выдержали и побежали в раскрытые скрипучие жердевые ворота. Только лишь старый кабан, с нависшими изо рта желтыми клыками, угрожающе остановился, повернувшись мордой к Ванятке, как будто говорил: «Ну, ну, подойди, подойди!..»

Ванятка знал, что он не одну собаку заporол клыками. А отец рассказывал, что в лугу распорол брюхо лошади, наступившей на поросенка. Лошадь, чтобы за нее не отвечать, кинули в озеро, а когда она там расплзлась, — ее растащили рыбы и раки.

Ванятка подбежал к кабану, который был выше его, и, чуя его горячее вонючее дыхание, вытянул между маленьких злых кабаньих глаз хворостиной. Кабан повернулся и грузно побежал на улицу, а мать закричала:

— Не трожь, пострел! Он тебе таки выпустит кишки...— И дала подзатыльника.

А когда Ванятка заревел на весь двор, утерла ему нос и сказала:

— Не плачь, сынок, иди в конюшню, помогай отцу,— запрыгает на степь ехать.

Ванятка побежал к конюшне. Отец, подставив под телегу дугу, мазал дегтем и крутил ходко вертевшееся на приподнятой оси колесо.

Ванятка постоял, глядя хитрыми серыми глазами. Он был белобрыс, брови его выцвели от солнца и степного ветра, а нос облупился. Очень хотелось самому подмазывать телегу, макать черный помазок в ведерко с дегтем, крутить ходко вертевшееся на поднятой оси колесо, но отец все равно не позволит, а даст подзатыльника.

Ванятке хотелось все делать, что делают взрослые, а силенки не хватало.

Вот и теперь — постоял-постоял, поглядел на скобочившуюся телегу, на широкую спину наклонившегося отца и юркнул в конюшню.

В конюшне под соломенной крышей летали ласточки, а в углу, свесив губу, стоял, покачиваясь от дремоты, Пегаш. Без уздечки, без шлеи и хомута он казался голым.

Хомут висел на деревянном гвозде, вбитом в стену. Ванятка поднялся на цыпочки, достал руками хомут, а снять не может — тяжел. Ухватился за шлею и стал изо всех сил тянуть в сторону,— хомут грузно упал на навоз. Ванятка, напрягаясь, подтащил его к коленям лошади и, весь красный от натуги, приподнял и стал надевать на морду Пегашу.

Пегаш, подрагивая добрыми, мягкими губами, нагнул голову, вытянул шею, помогая надевать на себя хомут, но Ванятка никак не мог справиться, запутавшись в шлее. Наконец кое-как насунул хомут на нос, но через глаза не мог продвинуть. Пегашу надоело, и он высоко вскинул голову. Хомут сам собой ссунулся на шею, а Ванятка отчаянно завизжал: его

зацепило шлеей, и он повис под лошадиной шеей. Пегашка смирно стоял, пожевывая губами.

Мужик вошел на визг, высвободил болтавшегося в воздухе Ванятку — лицо у него было расцарапано, — поставил наземь и дал такого шлепка, что тот вылетел из конюшни и с ревом побежал к матери, да не добежал: из открытого база выскочили беломордые телята и, задрав хвосты, стали носиться по двору, подбрыкивая.

Ванятка схватил хворостину и погнал их на улицу, а с улицы, обогнув сад, — на гору.

На горе потянулась степь, сколько глаз хватает, и на самом краю стояли курганы, три кургана, как три брата. За курганами отец будет косить сено.

Телята спустились в балочку и, помахивая хвостиками, стали щипать траву, а Ванятка обернулся в другую сторону и, приложив руку козырьком, стал глядеть. Под горой, за хутором, тянулся луг, по лугу извилисто блестела речка, темнели вербы, а дальше, теряясь обоими концами, как желтая ниточка, тянулась линия железной дороги. Телеграфные столбы стояли тоненькими палочками, и тихонько ползла длинная сороконожка — поезд; чуть белел передвигающийся дымок.

Потом Ванятка стал смотреть в ту сторону, где в сухом тумане пропадали рельсы, — там был город. Города не было видно, а тоненько-тоненько блестела звездочка, — говорили — собор.

Долго смотрел в смутный, сизый, сухой туман, одевавший край земли, — очень хотелось глянуть хоть одним глазком, какой такой город, какие там хаты, плетни, куры, собаки, и так ли скрипят там неподмазанные телеги, как у них по улицам.

Да забыл про город, упал на четвереньки и стал разыскивать заячью капусту. Заячья капуста топоричилась в траве мясистыми листьями. Сорвал и долго со вкусом жевал, выплевывая жевки. Потом искал и поел щавель. Потом сунул в муравьиное гнездо палочку и облизал с нее муравьиный сок.

В небе плавал коршун.

Ванятка огляделся. Солнце поднялось. Становилось жарко, и от зноя степь стала трепетать тонким трепетанием.

Ванятка побежал с горы, мотая руками, как крыльями,— есть захотелось.

II

Над двором стоял зной; над навозом гулко тучами зудели серые мухи, а ласточки с чиликаньем низко и мгновенно проносились.

У печурки, сложенной во дворе, возилась мать с хлебами,— к утру надо везти на покос,— и сказала:

— Кабы дождя не было, касаточки разыгрались.

Обедали в хате только Ванятка, двухлетняя сестренка да мать, а старшие брат и сестра и отец были на покосе.

— Мамка,— сказал Ванятка, отпуская пояс на раздувшемся животе,— я к батюне пойду на покос. Чего я тут не видал!..

— Я те пойду!.. Я те так пойду, своих не узнаешь...

— Чего я тут не видал...— плаксиво тянул Ванятка.

— Цыц! Бери Нюрку да ступай на двор... Да гляди мне за ней, а то надысь нос расквасила. Ступай.

Ванятка подхватил сестренку под животик и поволол из хаты.

Во дворе все то же: зной, зудящие мухи и белогрудые ласточки, мелькая, чиликают.

Мать, убравшись с посудой, пошла месить навоз, тяжело вытаскивая из него босые, сразу ставшие грязными ноги. Потом навоз станут резать кирпичами, потом их высушат и будут зимой топить печи.

Ванятка выбрался с Нюркой на улицу; сели с ней посредине в горячую мягкую пыль и стали играть. Пришла старая свинья, постояла около них, посмотрела и пошла кушать копеечки, которые густо росли вдоль дороги.

Ванятка вскочил, погнался было за свиньей, потом сказал, делая страшное лицо и выпучив глаза:

— Нюрка, беги скорее к матке, а то свинья съест.

Девочка жалобно заплакала, закрыв ладошкой глазки, и, ковыляя, направилась к воротам, а Ванятка что есть духу пустился по дороге, обжигая босые ноги о горячую пыль, обогнул сад и, задыхаясь, вбежал на гору.

Внизу за хатами открылся луг, блестящая в зное река, ниточка железной дороги, но Ванятка ничего этого не видел, а пустился бежать к трем курганам, которые стояли, как три брата.

Жесткая мелкая трава царапала босые ноги, солнце жгло. Иногда Ванятка с размаху садился на землю, хватал обеими руками ногу, выворачивал подошву, подтаскивая ее к самому лицу, слюнями оттирал налипшую пыль и грязь и, схватив черными ногтями воткнувшуюся колючку, выдергивал и опять пускался бежать.

Добежит до покоса, — трава там не такая, как тут, высокая, густая — отец ездит на громко звенящей, грохочущей косилке, управляя ножами; брат Алешка гоняет потных лошадей, а сестра Варька на кизяках варит кашу. Подойдет Ванятка, скажет: «Пусти, Алешка!» И станет сам гонять лошадей, косилка пойдет еще лучше, и отец скажет: «Ай да Ванька, молодец!..»

И вдруг вспомнил плачущую Нюрку и что его бить будут, когда вернется. Заныло сердце, приостановился, посмотрел: луг уж скрылся за далеким краем обрыва, спряталась и речка, не видно железнодорожной линии, лишь сизоватый сухой туман лежит на краю, и в нем чуть заметно звездочка сияет. А впереди — степь, и три кургана, три брата, на самом краю стоят.

Опять побежал. Спустился в балочку, стал подыматься, да остановился: впереди какая-то большая рыжая птица бросилась на землю, потом взмыла; опять упала, снова сильными взмахами поднялась и снова рыжим комом упала, и что-то на траве под ней трепыхалось, что-то желтое и живое.

Ванятка что есть духу побежал и увидал, — под коршуном отбивается и кричит, как ребеночек, то-ненько и жалобно зайчишка. Подыметя коршун, зайчишка прыгнет раза два-три, а тот упадет на него и начнет терзать когтями и клювом, зайчишка заверещит, опять прыгнет, и опять насядет коршун.

Ванятка пронзительно закричал и бросился к зайцу, испуганно махая руками. Коршун недовольно поднялся, раскинув большие крылья; виднелся кривой нос, который он поворачивал то в ту, то в другую

сторону, да лапы желтоватые, мохнатые, которые он так и не подобрал. Коршун улетел.

Зайчишка весь съежился комочком и сидел неподвижно, покорно заложив уши на спину и глядя большим выпуклым, круглым глазом,— другой был выклеван. Шерстка на нем мягкая, как пух,— зайчишка был совсем молоденький, молочный,— и голова в крови.

Ванятка взял его на руки. Он не сопротивлялся, а подвигал лапками и улегся комочком, как в гнезде.

Ванятка, осторожно держа, понес его назад:

— Ах ты сердяга!.. Лапушка моя... бедненький... Ишь, проклятый, как он тебя!..

Долго шел, пока не открылся луг, речка заблестела; по линии полз поезд, белея дымком, и звездочка собора стала яснее блестеть.

— Мамунька!.. мамунька!..— не своим голосом заорал Ванятка, вскакивая во двор, весь дрожа, с пылающим лицом.— Гли, кого я поймал.

Он забыл, что его будут драть, а мать, перестав на минутку ногами месить навоз, закричала:

— Ты иде это шалаешься! Кому я велела Нюрку смотреть!.. Постой, я тебе побегаю...— Но, увидев окровавленного зайца на руках, сказала: — Это еще чего такое?.. Вот кабы увидали тебя на улице собаки, разодрали бы совсем и с зайцем.

А Ванятка весь дрожит, прижимая зайца:

— Мамуня!.. мамуня!.. мамуня!.. я его под лавку, я его под лавку...— и понес в хату.

Мать закричала:

— Куды ты эту погань!.. Вот я тебя совсем с ним на улицу выгоню.

Тогда Ванятка побежал к амбару, чтоб там устроить своего больного, но, когда подбежал к дверям, заяц вдруг развернулся, как пружина, толкнул в грудь, прыгнул на землю и, не успев моргнуть Ванятка, исчез под амбаром в узкую дыру, сделанную крысами.

Ванятка упал животом на землю и, прижимаясь лицом к мелкой сухой соломе и горячей пыли, долго глядел в дыру, но там было черно и пусто.

— Ванятка! — закричала мать, бросила месить и, слегка обтерев ногу об ногу навоз, подошла и оттаскала за вихры.

III

А ночью случилась гроза,—недаром так припекло днем и низко летали касаточки. Ванятка спал под образами на лавке. Спал он всегда крепко и ничего никогда не слышал, а сегодня чудилось, бегают будто по степи, а за ним гоняется коршун, и будто нос у коршуна кривой, а глаз один вывернутый, красный. И вдруг сквозь веки почуял, кто-то заглянул ярко-синий, режущий. И опять заглянул, да так нестерпимо, что Ванятка открыл глаза.

Сквозь щели ставен лился ослепительно синеватый, почти белый свет, несколько секунд лился, дрожа, потом погас, и стало непроглядно черно, глухо. Ванятка зажмурился, а сквозь веки опять на секунду заглянул ослепительный свет и погас.

Ванятка вскочил, ничего не видя. Стало невыразимо страшно, не оттого, что вспыхивал этот ослепительный даже сквозь веки свет, а оттого, что вспыхивал он молча. Когда погас, в темноте стояло глухое молчание, и Ванятка закричал:

— Мамуня-а!..

Мать спала на кровати с маленькой сестренкой; Ванятка сполз на пол и, натыкаясь на стол, на скамейки, стал пробираться к кровати. Пошарил — пусто. Опять сквозь щели полился свет, и Ванятка увидал, матери нет, а Нюрка, прильнув к подушке, тихонько подсвистывала носом.

Снова все стало черно, глухо. Ванятка кинулся к выходу, нащупал дверь и, когда отворил, все увидал, яркое и отчетливое: пустой двор, корыто посредине, плетни и белый, как кипень, нетрепещущий тополь.

— Мамка-а!..—закричал он в темноте и побежал к базам — должно быть, мать пошла подпереть двери, чтоб скотина не разбежалась.

Но когда все кругом снова замерцало в ослепительном свете, он увидал, что возле не базы, а плетень в соседний сад. Сейчас же все потухло, и Ванятка, протянув руки, побежал к базам, а когда осветило, увидал, что лазает у конюшни.

Заворчал гром. Упали тяжелые капли. Плача, натыкаясь то на плетень, то на кучу соломы или навоза, метался Ванятка, зовя мать.

Густо посыпал дождь. Гром раскатывался, запол-

няя все небо. И хоть часто, почти без перерыва, светила молния, сквозь мелькающую, мутно-белесую сетку дождя ничего не было видно.

Отдавшись отчаянию, весь мокрый, Ванятка, как стоял, сел на корточки, не зная, где он, и горько всхлипывал, глотая слезы вместе с сбегавшим по лицу дождем.

А гром то оглушал потрясающим треском, то ровно, как множество колес, раскатывался во всех направлениях, то, глухо ворча, смолкал. Тогда, слышно было, шумел дождь и с томительными промежутками вспыхивал синевато-беспредельный свет, трепетно отражаясь в бегущих всюду ручьях.

— Мамулька-а... мамка-а... ы-ы-ы...

И вдруг прислушался: возле, у самых ног, кто-то бесконечно жалобно и беспомощно вякал. Ванятка протянул руки и нащупал мокрого, грязного, слабо ворочавшегося щенка. Верно, кто-нибудь выбросил, и щенок прибился к воротам.

Сразу прошел страх, ощущение заброшенности, одиночества. Ванятка поднял щенка, прижал, чувствуя, как он теплеет, тыкается мордочкой в грудь, и пошел, сразу разбирая, что он сидел под плетнем у ворот.

Молния широко осветила растворенную дверь в хату.

В комнате, освещаемая побледневшей и поредевшей молнией, мать беспокойно шарила по лавке:

— Ты где делся?.. Ванятка!..

Ванятка осторожно пробирался к своей лавке, и вода бежала с него, оставляя лужи. Очень хотелось ему рассказать матери о своей находке, да побоялся и, прижав пригревшегося щенка, крепко и сладко заснул. Заснул, и приснилось ему, будто опять налетает коршун, клюет и больно бьет его крыльями.

Вскочил испуганно, а это мать больно шлепает его рукой, и уже день на дворе.

— Это что за моду взял!.. Не таскайся, не таскайся!.. Все запакостил... Вот тебе!.. Вот тебе!..

Потом схватила жалобно завизжавшего щенка и понесла во двор и за воротами выкинула в лопухи.

Ванятка бежал за ней плача. А когда ушла, подобрал щенка, принес к амбару и устроил ему из соломы гнездо в старой кошелке.

Так завелось у Ванятки свое хозяйство.

Заяц долго сидел под амбаром, да голод не тетка, и в конце концов высунулся из дыры, выставив мордочку, торопливо обнюхивая подвижными ноздрями воздух. Больной глаз заструпился, втянуло его, стал подживать. Здоровый, большой, круглый и любопытный, глядел осторожно.

Ванятка клал около дыры под амбаром кусочки хлеба, молодые капустные листья, ставил молоко в кринке, приносил из степи заячьей капусты, и заяц все подбирал. Стал есть из рук и день ото дня ручнел.

Вот только собаки одолевали. Как только приедет под праздник отец с поля, собаки придут за телегой и, как звери, кидаются к амбару, а заяц юркнет в дыру и уже не показывается. Собаки визжат, роют лапами, да не достать.

Да и отец был недоволен и раза два больно оттрепал за волосы Ванятку, чтобы делом занимался, а не баловался с зайцем.

Дела же у Ванятки всегда было много, как и у всех во дворе. Когда лошади были дома, гонял лошадей и быков на водопой, выгонял телят на гору, возил отцу на ближний покос хлеба, пшена, глядел за Нюркой. Зато в каждую свободную минуту бежал к амбару и проводил время с друзьями.

Щенок и заяц подросли и выравнились, привыкли друг к другу и презабавно играли. Щенок облапит зайца, поймает за шиворот и начинает немилосердно таскать. Заяц встанет на задние лапы — да так забарабанит передними по морде, что щенок повалится на спину и начинает отбиваться, сердито повизгивая. А Ванятка покатывается со смеху.

Только взрослые досаждали Ванятке: гонялись за зайцем, травили собаками. Но заяц перестал бояться собак: погонятся за ним, он под амбар; а если посреди двора окружают, вскочит в телегу или в сени забьется, а раз вскочил в большую кадку с резаной соломой. Собаки прыгают кругом, а достать не могут; увидал Ванятка, выручил.

Щенок и заяц спали вместе в кошелке, свернувшись клубочком. А утром рано, чуть зорька низко закраснеется за дальними вербами, щенок и заяц являются к окну, за которым спит Ванятка, станут на задние лапы и заглядывают. Щенок повизгивает, а заяц

вдруг забарабанит по стеклу, да так, что того и гляди стекло вылетит.

Увидит мать и прогонит хворостиной, а не увидит, Ванятка откроет окошко и даст каждому по корочке хлеба, припасенной с вечера.

IV

Однажды случилось событие, которое не только помирило всех с зайцем и щенком, но и доставило обоим почетное положение.

Лето перевалило за Ильин день. Пшеницу сняли, и все стали готовить катки и молотилки.

Отец Ванятки тоже целый день налаживал каменные катки, чтоб утром на заре отвезти их на поле и начать молотьбу.

Ночь была черная, ветреная,—суховея трепал в темноте вербы и тополя, кружил по темному двору соломинки и сухие камышинки. Все крепко спали. Собаки полаяли с вечера и тоже дремали, свернувшись под телегой. Заяц со щенком забились под амбар.

С улицы, осторожно скрипнув жердевыми воротами, вошли три человека; у одного был лом. Собаки с ревом вырвались из-под телеги. Им бросили несколько кусков сала с отравой. Они похватали, сейчас же стали кататься в судорогах и неподвижно вытянулись.

Три человека стали ломать замок у конюшни, из-под амбара выскочил щенок и, вертясь около ног, стал таявкать. Тот, что держал лом, ударил им щенка, но в темноте задел лишь слегка. Щенок отчаянно завизжал и понесся, поджав одну ногу, к Ваняткиному окну; заяц испуганно помчался за ним. Под окном щенок, надрываясь, визжал, метался, а заяц стал на задние лапы и забарабанил в стекло.

Услыхал Ваняткин отец, схватил ружье, вышел на двор, покликал собак,—никто не отзывался. Это показалось подозрительным, и он выстрелил в воздух. Потом позвал старшего сына, вместе осмотрели двор, нашли дохлых собак, а на дверях конюшни погнутую дужку замка: воров и след простыл,—не успели сломать замка.

С этих пор и щенок и заяц стали полноправными гражданами во дворе. Мать Ваняткина стала обоих кормить.

— Ничего, пушай растет,— говорил Ваняткин отец, трепля радостно лизавшего руки щенка,— пушай растет, сторожем будет. Ишь рот черный — злой будет.

И дали клички: щенку — Забияка, а зайцу — Одноглазый. Они привыкли и прибегали на клички.

К осени Забияка выравнялся в хорошую собаку, облохматился, а кругом морды и около глаз выросли косматые, торчком стоящие усы и баки, что придавало ему свирепый вид. А Одноглазый стал белеть.

Ванятка не расставался с ними. Куда бы он ни шел, впереди трусил лохматый, дымчатый Забияка, с косматой свирепой мордой, а сзади Одноглазый делает два-три скачка, станет столбиком и поводит ушами, а там опять прыгнет и опять постоит и послушает. Если выскочат собаки, Одноглазый перемахнет через плетень и исчезнет в саду, а там его лови не лови, не поймашь.

Ванятка пройдет дальше, оглянется, а Одноглазый опять тут, прыгнет, прыгнет, станет и пошевелит ушами.

Зато и Ванятка любил их. Бывало, сядет на землю, обнимет с одной стороны Одноглазого, с другой — Забияку, сидит и рассказывает им, как людям, по целым часам. А они понимают: Одноглазый пошевеливает ушами, а Забияка нет-нет да и лизнет Ванятку в лицо, за что получает легонький тумак. И всяким сладким куском делился с ними Ванятка.

V

Пришел сентябрь. Все Ваняткины товарищи ходили в школу. Скучно стало Ванятке, и говорит он как-то отцу:

— Батя, слышь, отдай в училище... Ну, чего я тут... Слышь, отдай.

Отец почесал поясницу, поглядел на серое небо, по которому скучно летели вороны, и сказал:

— Постой, сынок, рано тебе, пушай эта зима пройдет, а на тот год отдам.

— Отда-ай, батя... отда-ай...— упрямо хныкал Ванятка.

— Цыц! Сказываю, на будущий год.

Ванятка замолчал, но задумал свое.

Пошли дожди. Деревья трепались в холодном ветре, который обрывал последние крутившиеся листья и заливал окна сбегающими ручьями. По лужам, покрывавшим целыми озерами черневшие от грязи улицы, вскакивали и лопались дождевые пузыри. Стало неуютно, безлюдно, скучно. Одноглазый и Забияка целыми часами спали под амбаром.

Ванятка уллучил минуту, достал с полатей старые отцовские сапоги и вставил туда ноги. На спину и на голову углом накинуд от дождя мешок и отправился.

До училища было три версты. Грязь стояла непролазная. Колеса вязли по ступицу, лошади едва вытаскивали ноги.

Ванятка на улице сейчас же утонул сапогами, и когда потащил ноги, они вылезли из сапог. Тогда он ухватился за голенище, вытянул сапог и переставил одну ногу; потом ухватился за голенище другого сапога, переставил — так и стал передвигаться, переставляя ноги.

В пот ударило Ванятку. Он разогнулся и глянул назад: уныло опустив голову и хвост и вытаскивая грязные лапы, плелся Забияка, а за ним то присядет, то прыгнет Одноглазый, по самые уши в грязи.

Ванятка замахнулся:

— Уйдите вы! Вам нельзя... Пошли, пошли!..

Забияка покорно завилял хвостом, с которого текла грязь, а Одноглазый недоумевающе поводил ушами.

Ванятка стал швырять в них грязью, а они не понимали, за что это.

— Пошли!.. Убью...— кричал Ваня, отогнал и опять побрел, утопая в грязи.

Косой дождь все так же сек лицо и заливался за шею в рукава. Идти было мучительно тяжело. Только когда выбрался на полугорье и пошел косогором по каменистому хрящу, стало суше.

Вдали из-за сада показалось белое здание школы. Ваня, подходя к училищу, оглянулся: Забияка, нагнув голову, хитро крался, а Одноглазый стоял столбиком, пошевеливая ушами.

Ваня опять с отчаянием стал швырять в них камнями, комьями грязи, со слезами озлобления крича. Забияка, поджав хвост, мокрый и жалкий, побежал под дождем домой, а за ним, то задерживаясь, то скачками, пошел Одноглазый. Выскочила откуда-то, таякая, собачонка, и заяц умчался.

Ваня обтер в сенях свои чудовищные сапоги и вошел в школу. Там стоял невероятный содом, гам, шум — была перемена.

Ребятишки накинулись на Ваню.

— А-а, зайчиный отец!..

— Ванька, здорово!..

Ваня стоял посреди них, не зная, что делать. Когда пробил звонок, все повалили в класс. Ваня, шмурыгая по полу сапогами, которые он с трудом поднимал, вошел вслед за другими и примостился на краешке парты.

Вошел учитель. Все закричали:

— Новичок! Новичок!

Учитель подошел к Ване:

— Ты чей?

Ваня стоял, упорно глядя в пол.

— Ну, что ж ты не говоришь? Чей же ты?

— Мамкин, — угрюмо сказал Ваня, все глядя в пол.

Ребятишки покатались от хохота и закричали:

— Заячий хозяин...

— Он Щербаков... Щербака рыжего сын.

Учитель улыбнулся.

— Зачем же ты пришел?

— Букварь.

Все опять засмеялись.

— Сколько тебе лет?

— Об рождестве девятый пойдет.

— Видишь, хлопец, ты еще мал; приходи на тот год.

— Я реветь буду, — все так же хмуро заявил Ваня.

Учитель опять улыбнулся и ласково погладил его по голове.

— Ну, хорошо, оставайся пока; слушай, о чем тут говорят; я сам поговорю с отцом.

Класс стал заниматься, а Ваня, напрягаясь и мор-

ща лоб, слушал, ничего не понимая, и чувствовал себя, как в церкви.

Урок подходил к концу. Вдруг все головы повернулись к окну, и учитель остановился на полуслове: в омытом дождем стекле виднелись две морды, внимательно глядевшие в комнату, одна косматая, другая с длинными ушами.

Ребятишки захохотали.

— Это что такое? — спросил учитель.

— Это Ванькин кобель да заяц.

— Одноглазый...

— На задних ногах стоят...

— Они у него выучены...

Учитель строго сказал:

— Это не годится. Нельзя так.

Ваня горько разрыдался:

— Я их убью. Я их прогонял, они не слушают. Я их собаками зацукаю...

Учитель, успокаивая, опять ласково погладил по голове:

— Ну, ничего, ничего, успокойся. Только не бери их с собой в другой раз.

Потом позвал сторожа и что-то сказал ему. Сторож, стуча в сенях сапогами, хлопнул наружной дверью, и в стекле разом исчезли и косматая и ушастая морды.

Когда Ваня ворочался, на косогоре его ждали и Забияка и Одноглазый, невыразимо грязные. Забияка, радостно визжа, прыгал и лизал в лицо, а Одноглазый становился столбиком и барабанил по коленям. Ванятка ласкал обоих и, радостный и счастливый, держась руками за голенища, чтобы не вылезли ноги, добрался домой.

VI

Пришел март. Снега быстро таяли, шумели овраги, птицы летели с юга, и солнце безоблачно сияло.

Ваня каждый день ходил в школу, но ни Забияка, ни Одноглазый его уже не провожали.

С зайцем стало делаться что-то странное. Стал он беспокоен, пуглив, поминутно навастривал уши, не давался в руки. И однажды исчез.

Долго ходил и искал его Ванятка,— нигде не было. Только когда однажды выбрался на гору, на талом снегу увидел обтаявшие заячьи следы: большими скачками, видно, уходил в степь и уже больше не ворочался.

Только раз летом на покосе видел Ваня, как по скошенному месту прокатился крупный заяц, остановился на секунду, присел, повел ушами и исчез, мелькнув в траве. Своя, видно, началась жизнь.

А у Вани и Забияки тоже у каждого своя была жизнь: Забияка зло сторожил двор, лошадей, скотину, днем и ночью не подпуская к дому никого. Стал он еще косматее, вечно в орепьях, с мотающимися комками грязи на лохмах.

Ваня летом не покладая рук работал во дворе, в поле, ездил на мельницу, возил на станцию хлеб, а зимой в отцовских валенках бегал в школу.

МЕДВЕДЬ

I

Над самым берегом стояла великолепная дача, похожая на белый дворец,— в ней жили господа. Даже и не жили, они все время проводили за границей, и дача стояла пустая. Но ее охраняли и за ней ухаживали, и для этого во дворе жило много народу: дворники, сторожа, кучера, садовники, горничные, лакеи.

Жил в сторожах рязанский крестьянин, переселившийся года два назад на Кавказ с большой семьей,— старшему, Галактиону, четырнадцать лет. Жена, крепкая российская женщина, хорошая работница, вот уже полтора года лежит желтая и раздувшаяся от злой кавказской лихорадки и слабым замученным голосом все скрипит:

— Галаша, сынок, ты бы мне медвежатинки добыл, что ли. Так и вертит в носу, так и вертит, кабы съела кусочек, поздоровила, гляди. Уж так-то хочется, так-то хочется!

Жалко Галактиону матки, да как добудешь? За эти два года он отлично выучился стрелять, да на

медведей отец не пускает, и некогда; то винограды вскапывать, то в огороде, то скалу порохом взрывать,— от работы некогда и оторваться.

От дачи в одну сторону тянулось бесконечное синее море, а сзади, возвышаясь друг над другом, уходили в небо горы.

Ближние были густо-зеленые, покрытые дремучими лесами; дальше синели затянутые фиолетовой дымкой, а за ними громоздились белые, как сахар, снеговые хребты.

Леса и горы тут пустынные — редко встретишь человека, но тут своя жизнь, свое население: бродят грациозные козы, а за ними серой толпой, низко опустив лобастые головы, волки. Одинокое разгуливают медведи, деловитые, наблюдательные, все примечающие, ко всему прислушивающиеся. Прыгают по деревьям белки. Раздвигая кусты могучей грудью, с треском проходят огромные, с чудовищно косматыми плечами зубры, которых во всем мире осталась только горсточка на Кавказе.

Много по Кавказским горам и лесам звериного и птичьего населения,— охотнику тут раздолье. Много и гадов всяких: в траве, в каменистых щелях извиваются гадюки; на припеке греются маленькие красные змейки, от укуса которых человек и зверь быстро умирают; на камнях выползают греться смертоносные скорпионы, похожие на рака. Бегают проворные сколопендры, многоножки, и серые ядовитые фаланги, похожие на большого длинного паука, охотятся на мух, ловко хватая длинными мохнатыми лапами.

II

Рано утром, в воскресенье, еще солнце не вставало, Галактион потихоньку от отца вскинул охотничий мешок с хлебом, взял подвязанное веревочкой ружье, мешочек с порохом и пулями и вышел.

Море только что проснулось, было светлое, покойное и еле заметно дымило тонким туманом утреннего дыхания. Прибой мягко, ласково шуршал, чуть набегая на мокрые голыши тонко растекающимся зелено-

ватым стеклом. Косо белели вдали, не разберешь — крылья ли чаек, рыбачьи ли паруса.

Галактион пошел по знакомой тропке, уходившей в горы. Лес тоже только недавно проснулся и стоял свежий, прохладный, в утреннем уборе алмазно-дрожащей росы.

Долго он шел, поднимаясь выше и выше. На тропинке, загораживая ее всю, показалась маленькая горская лошадь. Ее не видно было под огромными перекинутыми через деревянное седло чужалами, набитыми древесным углем. За ней, так же осторожно и привычно ступая по каменистой тропинке, гуськом шли еще три лошади с качающимися по бокам огромными чужалами. На четвертой, свесив длинные ноги почти до земли, ехал знакомый грузин, Давид Магардзе.

Увидя Галактиона, он улыбнулся, ласково и приветливо кивая головой, и заговорил, останавливая лошадь, чисто по-русски, лишь с легким акцентом:

— Здравствуй! На охоту собрался?

Передние лошади сами остановились, и от их дыхания чуть шевелились по бокам огромные чужалы, а на белый, хрящеватый камень тоненькой струйкой посыпалась угольная пыль.

— Эх, вот работа у меня сейчас, а то б с тобой махнул. На Мзымте стадо коз видел, так и полыхнули в горы, только камни посыпались.— У Давида горели черные глаза — он был страстный охотник.— А в монастыре все просят, чтоб с ружьем прийти — медведи одолевают, сад весь обломали. Ге-а... о-о!..— гортанно крикнул он.

Шевельнулись чужалы, тронулась передняя лошадь, за ней вторая, третья, поехал и Давид, подтачивая ногами под брюхо, ласково кивая мальчику головой. Вот на повороте на минуту показались растопыренные по бокам чужалы и скрылись. Галактион остался один. Издали донесся голос Давида:

— В монастырь зайди — просили.

— Ла-а-адно!

Деревья неподвижно стояли; в ветвях гомозились птицы; верхушки тронуло взошедшее солнце.

Долго мальчик карабкался, хватаясь за ветки и выступившие корни. Из-под ног срывались камни и,

прыгая, катились вниз, а со лба падали крупные капли пота.

Часа через два, задыхаясь, с бьющимся сердцем, он выбрался из лесу на каменистую площадку. Далеко внизу расстиралось синее море.

Кругом стояли скалы, старые, потрескавшиеся. Высоко из расщелины отвесной скалы тянулась, протягивая корявые ветви, уродливая сосенка. Никто не знает, как ее занесло туда и как она держалась на бесплодном камне. Гигантские обломки были причудливо наворочены. Как будто жили здесь великаны и стали строить невиданное жилище. Сорвали с гор каменистые верхушки, сбросили и нагромодили здесь, да потом раздумали и ушли. Так мертво все и осталось, лишь из расщелины одиноко протягивала уродливые руки корявая сосенка.

Мальчик осторожно прошел между камнями, где мелькали змеи. Площадка обрывалась отвесной стеной. Далеко внизу белело ложе высохшего ручья.

Выбрался из ущелья, перевалил горный отрог, и среди синевших гор в лесной долине открылся белевший кельями и церковью с золотым крестом монастырь.

Зашел к знакомому монаху. Монах был откормленный, краснорожий, с огромным брюхом. Он повел мальчика мимо пчельника. Кругом звенели, золотисто мелькая, пчелы.

«Хоть бы медку дал», — подумал Галактион, втягивая носом сладкий запах разогретого меда.

— Одолевают, одолевают нас медведи, — сказал монах, поправляя скуфью, — просто сладу нету. Чуть отвернешься ночью, двух-трех ульев нету, заберется, повалит и лапой все выгребет. И не укараулишь, — хитрые!

— Мне Давид говорил. С углем я его встретил.

— А далеко встретил?

— Да только что стал подыматься.

— Он вчера у нас был с углем. Просили его. Говорит, ружья не захватил, дома.

— А отчего же вы сами, отец, не стреляете их? Тут у вас раздолье, охота великолепная.

Монах присел на срубленный пенёк.

— Нам нельзя. Устав монастырский не велит оружия в руки брать, не токмо кровь живую проливать. Вам можно, вы в миру, а мы божье дело делаем.

Помолчали. Галактион подумал: «Божье! Пьянствуете тут, обжираетесь, народ обманываете и заставляете на себя работать. Ружья, вишь, ему в руки нельзя взять, а бездельничать можно,— привыкли все чужими руками загребать».

Хотелось встать и уйти, а с другой стороны, уж очень хорошо было на медведя поохотиться.

— Вот садись тут в засаду. Ночи светлые, луна. В конце сада сливы поспели, так туда стали таскаться,— все деревья пообломали.

— А вы, батюшка, ежели убью медведя, медку дайте, матке понесу, больная дюже!

— Ну, там видно будет,— уклончиво ответил монах и ушел.

III

Вечером взошла луна, и сад, и лес, и горы стали волшебными. Всюду голубые тени, в просветах листвы лунное сияние, деревья, как очарованные, и на верхушках голубовато-облитых гор зубчато чернеют леса.

Отчего все так таинственно, непонятно, все иначе, чем днем?

Галактион лежит на спине в густом малиннике на охапке душистой травы, которую нарвал на пчельнике. Над ним бездонный синий океан, и на нем высоко сияющая луна. И в ее сиянии звезды побледнели и попрятались.

Иногда наплывает жемчужное облачко, покроет, сквозя, луну. Луна бежит в одну сторону, облачко в другую. Облачко дымчато растает, а луна опять одна и сияет на беспредельном синем океане.

Мальчик осторожно раздвигает малинник; таинственно стоят черные деревья с простертыми ветвями, и в одну сторону от них тянутся голубые тени.

Ни звука, ни шороха. Изредка в это сонное молчание вливается томительный крик маленькой совы, «сплюшки», невидимо летающей: «Сплю-у... сплю-

у...», или доносятся вой, визг и крики — шакалы во-
зятся в лесу.

Ружье, заряженное пулей, лежит возле. Галак-
тион заводит веки, надоело ждать, а когда открыва-
ет — все то же: молчание, покой и сияющая луна, но
тени на земле передвинулись — время идет.

«Нет, видно, Михаил Иванович сегодня не за-
явится!»

Он решил подождать, пока луна спустится к са-
мому лесу, и тогда уходить.

Поднял глаза — под деревом стоит человек. При-
смотрелся — медведь на задних лапах внимательно
осматривается и нюхает воздух. Мальчик затаил ды-
хание. Долго глядел и нюхал медведь. Потом не спе-
ша опустил на передние лапы, подошел к дереву
и обнюхал его со всех сторон. Опять поднялся неук-
люже на задние лапы, неуклюже облапил дерево и
полез. В его фигуре, в движениях была медлитель-
ность, медвежья неповоротливость, но не успел маль-
чик и глазом моргнуть, как медведь очутился на де-
реве и уселся на развилке ветвей.

Дерево низенькое, и Галактиону отлично видно
каждое движение медведя. Он осторожно приладил
рогулю, положил ружье. Стрелять хорошо и близко,
только надо сразу свалить, а то задерет.

Медведь помахивал к себе лапой, очевидно, ловил
сливы, но никак не мог поймать: ветви тонкие, а сли-
вы на концах веток, и когда он нагибался, все треща-
ло и гнулось, никак Мишка не достанет слив. Он по-
ворочался, прислушался, потом, захватив два толстых
сука, стал с силой трясти все дерево. Сливы посыпа-
лись дождем. Галактион ждал, хотелось посмотреть,
что дальше будет.

В ту же минуту послышалось торопливое чавка-
нье под деревом. Глядь, а там целое семейство диких
свиней, и большое семейство: папаша, мамаша, дедуш-
ка, бабушка и целый выводок поросят, больших и ма-
леньких. Все они торопливо подбирали с земли сливы,
вкусно чавкая.

Медведь еще два раза сильно потрянул дерево и
стал спускаться, перехватывая ствол лапами.

Только коснулся земли, свиньи прыгнули в кусты,

и медведь с удивлением стал обнюхивать пустую землю, всю пропитанную запахом свиных следов. Походил-походил, посмотрел в одну сторону, в другую — никого. Лишь круглая, ясная луна на высоком небе, да горы неровно вырезаются зубчатым лесом на верхушках, да голубые тени от деревьев еще более передвинулись.

Мишка недовольно поурчал и опять полез на дерево, а свиньи — тут как тут, все расположились кольцом, осторожно похрюкивая в ожидании. Медведь глянул на них свирепо и стал спускаться. Свиньи моментально исчезли. Мишка снова полез, поглядывая вниз. Охватив сук, опять с силой тряхнул, сливы посыпались, шлепая о землю.

Медведь, не теряя ни секунды, неуклюже и в то же время с поразительной быстротой стал спускаться. Мальчик глянул, ухватил зубами пальцы и стал кусать: хохот душил его, до того уморительна была фигура.

Но как ни проворен был Мишка, свиньи оказались проворнее; когда он спустился, на земле только воняли их следы, а сами они рассыпались по кустам, подобрав до одной все сливы.

Медведь долго ходил, качая головой, сердито урча, на все корки «ругал» свиней и свиную породу. Становился на задние лапы, долго смотрел в кусты. Было тихо, молчаливо, пустынно. Все залито с одной стороны лунным светом, с другой лежали густо голубые тени.

Опять походил, качая головой и неодобрительно урча, грозил кому-то. И полез на дерево в третий раз. А свиньи уже стоят кольцом вокруг дерева в ожидании. Медведь глянул на них сердито и не спешил трясти. Долго он возился, примащиваясь, потом захрустел косточкой, достал-таки, видно, сливу лапой.

Опять схватился за сук, тряхнул и в ту же секунду повис на передних лапах и повалился сверху прямо на свиней. Они с отчаянным визгом кинулись бежать, а мальчик неудержимо расхохотался и повалился на траву.

Когда поднялся, не было ни медведя, ни свиней. Стояла одинокая ободранная слива. Сад спал. Спа-



ли осеребренные горы, все так же чернея зубчатым лесом, и бежала мимо жемчужного облака луна.

«Сплю-у!.. сплю-у!..» — томительно, с тоской, замирает в насыщенном лунном сиянии. Вдруг заводятся в лесу, нарушая молчание визгом и хохотом, шакалы, и опять тишина, и сияние неспящей луны, и горы, и неподвижный сад.

Галактион поднял ружье и сумку.

— Эх, жалко, медвежатинки матке не добыл, и меду теперь не даст толстопузый...

Идет Галактион, хочется спать.

Да как вспомнит неуклюжий, на мгновение повисший медвежий зад и как он повалился на свиного дедушку, громко расхохочется на весь сад.

Мальчик разыскивает на поляне свежескошенную копну, забирается в нее, — чудесно выпится до утра.

Месяц стал ниже, уже касается верхушек деревьев, — ему тоже хочется спать. Все потемнело.

БОРИС СЕМЕНОВИЧ
ЖИТКОВ
1882—1938

ПРО ВОЛКА

ДИКИЙ ЗВЕРЬ

У меня был приятель-охотник. И вот раз собрался он на охоту и спрашивает меня:

— Чего тебе привезти? Говори — привезу.

Я подумал: «Ишь хвастает! Дай загну похитрей него-нибудь», — и сказал:

— Привези мне живого волка. Вот что.

Приятель задумался и сказал, глядя в пол:

— Ладно.

А я подумал: «То-то! Как я тебя срезал! Не хвастай».

Прошло два года. Я и забыл про этот наш разговор. И вот раз прихожу я домой, а мне в прихожей уж говорят:

— Тебе там волка принесли. Какой-то человек приходил, тебя спрашивал. «Он волка, говорит, прошил, так вот передайте». А сам к двери.

Я, шапки не снимая, кричу:

— Где, где он? Где волк?

— У тебя в комнате заперт.

Я был молодой, и мне стыдно казалось спрашивать, как он там сидит: связанный или просто на веревке. Подумают, что трушу. А сам думаю: «Может быть, он ходит по комнате, как хочет, — на свободе?»

А трусить я стыдился. Набрал я воздуха в грудь и дернул в свою комнату. Я думал: «Сразу-то он не бросится на меня, а потом... потом уж как-нибудь...»

Но сердце сильно билось. Я быстрыми глазами оглянул комнату — никакого волка. Я уж обозлился — надули, значит, подшутили, — как вдруг услышал, что под стулом что-то ворочается. Я осторожно пригнулся, поглядел с опаской и увидел головастого щенка.

Я вот говорю — увидел щенка, но сразу же было видно, что это не собачий щенок. Я понял, что волчонок, и страшно обрадовался: приручу, и будет у меня ручной волк.

Не надул охотник, молодец: привез мне живого волка!

Я осторожно подошел, — волчонок стал на все четыре лапы и насторожился. Я его разглядел: какой он был урод! Он почти весь состоял из головы — как будто морда на четырех ножках, и морда эта вся состояла из пасти, а пасть из зубов. Он на меня оскалился, и я увидел, что у него полон рот белых и острых, как гвозди, зубов. Тело было маленькое, с редкой бурой шерстью, как щетина, и сзади крысиный хвостик.

«Ведь волки серые... А потом, щенята всегда бывают хорошенькие, а это дрянь какая-то: одна голова да хвостик. Может быть, и не волчонок вовсе, а просто для смеха что-нибудь. Надул охотник, оттого и удрал сразу».

Я смотрел на щенка, а он пятился под кровать. Но в это время вошла моя мать, присела у кровати и позвала:

— Волченька! Волченька!

Смотрю, волчонок выполз, а мать подхватила его на руки и гладит — чудище этакое! Она его, оказывается, уже два раза поила с блюдца молоком, и он сразу ее залюбил. Пахло от него едким звериным запахом. Он чмокал и совался мордочкой маме под мышку.

Мать говорит:

— Если хочешь держать, так надо его мыть, а то вонь будет от него на весь дом.

И понесла его в кухню. Когда я вышел в столовую, все смеялись, что я таким героем ринулся в комнату, будто там страшный зверь, а там щенок.

В кухне мать мыла волчонка зеленым мылом, теплой водой, а он смирно стоял в корыте и лизал ей руки.

КАК Я УЧИЛ ВОЛКА «ТУБО»

Я решил, что сизмальства надо начать волчонка учить, а то, как вырастет большой зверь, с ним уж тогда ничего не поделаешь. Вот он еще маленький, а зубищи уж какие во рту. А вырастет — держись тогда. Первое, думал я, надо научить его «тубо». Это значит — «не тронь». Чтоб как крикну «тубо», так чтоб он даже изо рта выпускал, что схватил.

И вот я взял волчонка в свою комнату, принес плошку с молоком и хлебом, поставил на пол. Волчонок потянул носом, учуял молоко и заковылял на лапках к плошке. Только он сунул морду в молоко, я как крикну:

— Тубо!

А он хоть бы что: чавкает и урчит от радости.

Я опять:

— Тубо! — и дернул его назад.

И вот тут он сразу как рывкнет на меня, голову повернул, зубами щелкнул — как молнией ударил. И так по-лесному, по-звериному вышло у него, что меня на один миг жуть взяла. Я от взрослой собаки такого не слышал, — вот оно что значит, волк-то.

Ну, думаю, если он с малых лет так, то что же потом-то? Не подойти тогда уж, прямо съест. Нет, думаю, надо его страхом взять, пусть он привыкнет бояться моей руки.

Я снова крикнул «тубо» и стукнул кулаком волчонка по голове. Он ударился челюстью о плошку и взвизгнул, совсем по-ребячьи. Но он не мог оторваться от молока, облизнулся и снова в плошку.

Я крикнул не своим голосом:

— Тубо, дрянь этакая! — и опять ударил кулаком.

Волчонок отскочил от плошки и заковылял на тонких лапках вдоль стенки. Бежал и тряс от боли головой. С мордочки текло молоко, и он выл обиженно.

Обежал по стенке всю комнату, и ноги сами понесли его к молоку.

Хоть мне было стыдно, что я ударил так сильно такого маленького, но я все же решил настоять на своем.

Как только волчонок начал есть, я снова крикнул «тубо». Он наспех огрызнулся и залакал скорее.

Я стукнул его кулаком. Он завыл, бросился, и я не успел его схватить, как он уже отворил мордой дверь и стремглав побежал вон. Он побежал к матери, сунул ей в юбку мокрую морду и заскулил громким голосом на всю квартиру.

Все сбежались, стали гладить волка, а меня ругали, что я мучаю такого маленького.

Маме он всю юбку запачкал молоком и заслунявил.

Потом он целый день бегал за матерью, а меня так все заругали, что я пошел гулять.

Я на всех дома обиделся. Я думал: «Им хорошо говорить: «Волченька, миленький да бедненький», а вот когда вырастет зверище-волчище с громадными зубами, тогда все в доме начнут кричать: «Гляди, что волчище наделал! Твой волк, देвай его куда хочешь». Тогда все на меня будут валить. «Завел, скажут, зверя в доме, теперь и расхлебывай». И я решил, что уеду из дому, найму себе маленькую квартиру и буду там жить со своей собакой, с кошкой и с волком.

Я так и сделал: нашел комнату с кухней, нанял и переехал с моими зверями на новую квартиру.

Надо мной смеялись:

— Скажите, Дуров какой у нас завелся! Со зверями будет жить.

А я думал: «Дуров не Дуров, а волк ручной у меня будет».

Собачка у меня была рыженькая, маленькая. Она была потайного и ехидного характера. Звали ее Плишка. Плишка была чуть побольше волчонка. Волчонок, как ее увидал, побежал к ней, хотел поиграть, повозиться. А Плишка оцетинилась, оскалилась, как огрызнется:

— Рраф!

Волчонок испугался, обиделся и побежал искать мою мать, но я уже жил один. Он скулил, бегал по комнате, искал в кухне и прибежал наконец ко мне. Я его приласкал, посадил рядом с собой на кровать и позвал Плишку. Дай, думаю, я вас примирю. Я поставил Плишку лечь рядом с волчком. Она, дрянь, все время подымала губу, показывала зубы и шепотом ворчала — ей, видно, противно было лежать рядом с волчком. А он пробовал ее нюхать, даже лиз-

нул. Плишка дрожала от злости, но куснуть волчонка при мне не смела.

«Ну, думаю,— как же я их одних-то дома оставляю, как пойду на работу? Заест волчонка Плишка, закусает». И я решил взять утром Плишку с собой. Она была очень муштрованная, и утром на службе я повесил на вешалку пальто, а Плишке сказал, чтоб стерегла и не сходила с места. Когда мы с Плишкой вернулись домой, то волчонок так обрадовался Плишке, что бросился к ней со всех своих кривых ножек и с разбегу сбил собаку и навалился на нее. Плишка пружиной вскочила, и я крикнуть не успел — она цап волчонка за ухо. Но тут вышло не то: волчонок как рывкнет и так лязгнул зубами — быстро, как молния,— что Плишка кубарем в угол, прижалась и, рот раскрыв, рычала испуганным хрипом.

Кошка Манефа важно вошла в дверь посмотреть, что за скандал. Волчонок тряс больным ухом и бегал по комнате, на все натыкался крепким лбом. Манефа на всякий случай вскочила на табурет. Я боялся, что ей придет в голову сверху царапнуть волчонка. Нет, Манефа уселась поудобней и только следила глазами, как метался волчонок.

Я принес с собой овсянки и костей для волка и отдал дворничихе Аннушке сварить.

Когда она принесла горячий котелок, то сейчас же заметила волчонка:

— Что это собачка какая безобразная? — И присела на корточки.— Это какая же порода будет?

Я не хотел, чтобы в доме знали, что есть волк, и думал, что бы такое соврать, как тут Аннушка пригляделась и говорит:

— Уж не волчонок ли? Да верно ведь, волчонок. Ах, бедный ты мой!

Смотрю, уж гладит его. Я сказал:

— Аннушка, пожалуйста, никому не надо говорить. Я хочу вырастить, пусть ручной будет.

— Да мне зачем же рассказывать,— говорит Аннушка,— а только, знаете, говорится: сколь волка ни корми, а он все в лес глядит.

И я договорился с Аннушкой, что она будет у меня прибирать и варить, а волку варить варево из овсянки с костями каждый день.

Я дал всем зверям есть, каждому в своем углу, каждому из своей кормушки.

Волчонок чавкал своей овсянкой, а Плишка свое быстро сожрала, оглянулась на меня. Я в зеркало следил за ней, а она этого не понимала и думала, что я сзади ничего не увижу. И вот я вижу в зеркале, как она по стенке тихонько крадется к волку. Еще раз оглянулась на меня и втихомолку подворачивает на волка. Оскалилась всем ртом, глазищи злые, и надвигается шаг за шагом.

«Ну, думаю,— залезь ты ему в кормушку, вытяну я тебя ремнем, будешь знать. Все вижу, голубушка».

Но вышло иначе. Только Плишка сунула морду к кормушке, волк — врык! — лягнул зубами, да не мимо, а прямо Плишку за морду. Она отскочила с визгом, и тут с ней сделался прямо-таки припадок: она носилась по комнате, по кухне, кидалась в прихожую и так отчаянно выла, будто на ней вся шерсть огнем горит. Я ее звал, но она делала вид, что не слышит, и только поддавала визгу еще пронзительней. А волчонок чавкал в своей плошке. Я ему подлил туда молока, и он спешил, лакал, только дух успевал переводить. Я выгнал Плишку на двор и во дворе слышал, как она пробовала скандалить.

Все соседи думали, что я нечаянно ошпарил собаку кипятком.

А волка я каждый день учил «тубо». И теперь дело двинулось вперед: только я крикну «тубо», волчонок стремглав бежал прочь от кормушки.

СОБАКИ СКАНДАЛЯТ

Я каждый вечер ходил со зверями на прогулку. Плишка была приучена бежать рядом с правой ногой, а Манефа сидела у меня на плече. Улицы были около моей квартиры пустынные, и, правду сказать, места воровские — народу попадалось мало, и некому было пальцем показывать, что вот идет взрослый мужчина с кошкой на плече. И вот я решил теперь пойти гулять вчетвером — взять с собой волка. Я купил ему ошейник, цепочку и пошел вечером по улице: волчонок ковылял с левой стороны, но его приходилось подергивать за цепочку, чтоб он шел рядом. Думал, нас

никто не заметит. Но вышло не так: нас заметили и подняли скандал. Только не люди, а собаки.

Первая попалась маленькая собачонка, Плишкина знакомая. Она разбежалась было к нам, но вдруг насторожилась, зафыркала и стала красться за волчонком, нюхать след. Потом бросилась в свои ворота и оттуда таким залилась тревожным лаем, что во всех дворах отозвались собаки. Я никогда и не думал, что столько собак на нашей улице. Собаки стали выскакивать из ворот, встревоженные, оцетинились и со злым испугом издали надвигались на волка. А он жался к моей ноге и вертел своей лобастой мордой. Я уж думал: не взять ли мне волчонка на руки да не повернуть ли домой, пока собаки не бросились на него? Из ворот уж стали высовываться люди, глядеть, что случилось. Плишка снизу заглядывала мне в лицо: что же, дескать, делать? Какой, значит, переполох из-за этого чучела мордатого! Но я уж не боялся: собаки ближе трех шагов не решались подойти к волчонку. Каждая провожала нас лаем до своего дома и пятилась задом в свои ворота.

Успокоился и волк. Он уже не вертел головой, а только не отставал и бежал, плотно держась у моей ноги.

— Что, — сказал я Плишке, — наша взяла?

Мы вышли на людные улицы, где собак не было, а когда возвращались, уже все ворота были на запоре и собак на улице не было. Но Волчик очень радовался, когда пришел домой. Он стал возиться, как щенок, повалил Плишку, валял ее по полу, а она терпела и не смела при мне огрызаться.

ВЫРАСТАЕТ

А на другой день, когда я возвращался, я увидел на дворе Аннушку: она в лоханке стирала белье, а около нее, свернувшись клубочком, грелся на солнце волчонок.

— Я его на солнышко взяла, — говорит Аннушка. — Уж что, в самом деле, и свету животное не видит.

Я позвал:

— Волчик! Волчик!

Он нехотя встал, расставил ноги, как поломанная кровать, и стал потягиваться, совсем как собака. Потом вильнул своим веревочным хвостиком и побежал ко мне.

Я так обрадовался, что он идет на зов, что сейчас же без всякого «тубо» скормил ему сдобную булку. Я хотел уже взять его в комнату, тут Аннушка говорит:

— Как раз кончила, а вода осталась, давайте-ка я и его. А то дух от него уж очень волчий.

Подхватила его под мышку и поставила в лохань. Она его мыла, как хотела, и он стоял смешной, весь в белой пене. Он даже ни разу не зарычал на дворничиху, когда она его обдавала теплой водой на-чисто. С тех пор его мыли каждую неделю. Он был чистый, шерсть стала блестеть, и я не заметил, как уж хвост у волчонка из голой веревки стал пушистым, сам он стал сереть и обратился в хорошенькую веселую собачку.

БОЙ С МАНЕФОЙ

И вот раз кормил я моих зверей, и Манефа, сидя на табурете, доедала рыбешку. Волчонок кончил свое и полез к кошке. Он стал лапками на табурет и потянулся мордой к рыбе. Я не успел крикнуть «тубо», как Манефа зашипела, хвост веником и — раз! раз! — надавала волку по морде. Он завизжал, присел и вдруг бросился настоящим зверем на кошку. Все это было в одну секунду: волк опрокинул табурет, но кошка подпрыгнула на всех четырех лапах и успела рвануть его когтями по носу, — я боялся, чтоб не выцарапала глаза. Я крикнул «тубо» и бросился к волку. Но он уж сам бежал ко мне, а кошка наскакивала сзади и старалась процарапать сквозь шерсть. Я стал гладить и успокаивать волчонка. Глаза были целы, — оказался порядочный шрам на носу. Шла кровь, и волчоноклизывал языком больное место. Плишка во время боя скрылась. Я с трудом вызвал ее из-под кровати. Там была лужа.

Вечером волк лежал на подстилке. Манефа — хвост трубой — королевой разгуливала по комнате. Когда проходила мимо волка, он рычал, но она и го-

ловы не поворачивала, а спокойно терлась о мою ногу и мурлыкала на сытое брюхо.

«ОСОБОЙ ПОРОДЫ»

В доме уж все считали, что у меня две собаки. И, когда спрашивали про Волчика, я говорил, что это овчарка, мне подарили, — особой породы.

Но вот раз ночью я проснулся от странного звука. Мне спросонья показалось сначала, что кто-то ревет за окном. Но потом разобрал я, в чем дело. Волк. Волк завыл...

Я зажег свечку. Он сидел среди комнаты, подняв к потолку морду. Он не оглянулся на свет, а выводил ноту, и такую лесную звериную тоску выводил он голосом на весь дом, что делалось жутко.

Вот тебе и «овчарка особой породы». Этак он весь дом перебудит, и уж тут не скроешь, что волк. Пойдут охи, ахи: «Волк во дворе». Все хозяйки заскандалют и выгонят меня завтра же вон из дому с моими кошками и овчарками. Наверху генеральша живет, злая и вздорная. «Помилуйте, — скажет, — живешь как в лесу, всю ночь волки воют. Благодарю покорно». Это я все знал наверное, и надо было сейчас же прекратить этот вой.

Я вскочил, присел к волку, стал гладить, но он глянул на меня и снова запрокинул голову.

Я дернул его за ошейник и повалил на пол. Он как будто опомнился, встал, встряхнулся, зазвонил пряжками. Я побежал в кухню и достал толстую кость из супа. Волк улегся на подстилке и стал грызть. Грыз он своими белыми зубами большие волосьи кости, как сухари. Только хрустело. Я потушил свечу, стал было засыпать, — как дернет мой волк ноту, крепче прежнего. Я быстро оделся и вытащил волка на двор. Я стал с ним играть, бегать по двору. И я заметил тут, ночью, что, не зная, я принял бы его за порядочного дворового пса. И вот никто не замечал: пес мой не лаял. Беда, если узнают, что он по ночам воет!

Теперь мне ночью не стало покоя. Я по часу, бывало, сидел и уговаривал волка, я его занимал, совал ему кости, чтоб как-нибудь он забыл про вой. Я за ним ухаживал, как за больным, у которого бы-

вают припадки. Недели через две он бросил выть. Но за это время мы с ним сдружились. Когда я возвращался домой, он ставил мне на плечи лапы, и я чувствовал, какие они крепкие у него — как железные палки. Я с ним гулял днем, и все смотрели на большую собаку с особенной походкой. Когда он бежал, он так легко пружинил задними ногами; он умел смотреть назад, совсем свернув голову к хвосту, и бежать в то же время прямо вперед.

УЗНАЛИ

Он был совсем ручной, и знакомые, когда приходили, гладили его и трепали по спине, как простую собаку.

И вот раз сижу я в парке на скамейке. Меж коленями у меня уселся на земле волк и дышит жарким духом, свесив длинный язык через зубы.

Маленькие дети играли в песке, а няньки на скамейке лужгали семечки.

Ребята стали подходить ко мне.

— Какая хорошая собака! Пушистая и язык красивый. Не кусается?

— Нет,— говорю.— Она смирная.

— Можно немножко погладить?

Я сказал волку «тубо». Он уж это хорошо знал, и дети, кто посмелее, стали осторожно гладить. Я гладил заодно с ними, чтоб волк знал, что и моя рука тут. Няньки подходили, спрашивали:

— Не укусит?

Вдруг одна нянька подошла, глянет да как заохает:

— Ой, матушки, волк!

Дети взвизгнули, прыгнули, как цыплята. Волк так перепугался, что волчком повернулся на месте, запрятал мне между колен свою морду и прижал уши.

Когда все немного успокоились, я сказал:

— Сами волка напугали. Видите, какой он смирный.

Но уж куда там! Няньки ребят за руку прочь тянут и оглядываться не велят. Только два мальчика, что без няnek были, подошли ко мне, стали на метр и говорят:

— Верно — волк?
— Верно,— говорю.
— Настоящий?
— Настоящий.
— А ну,— говорят,— забожись.
— Ей-богу,— говорю,— настоящий.
— Ага,— говорят,— то-то ты его себе к руке и привязал. Ну, дай еще погладить. Настоящего-то.

Это было действительно так: я цепь от волка привязывал ремнем к левой руке — в случае дернется или бросится, уж от меня он не оторвется. Пусть я даже упаду с ног — все равно не уйдет.

ПРОЗЕВАЛ

Аннушка так приучила волка, что он за ворота один ни за что. Подойдет к калитке, глядит на улицу, носом воздух тянет, нюхает, рычит на проходящих собак, но за порог лапой не переступает. Может быть, сам он боялся один выскакивать.

Вот я раз вернулся домой. Аннушка сидела во дворе, шила на солнышке под окном, а волк у ней в ногах клубком лежал — серая большая животина. Я окликнул, волк вскочил ко мне. И тут я вспомнил, что не купил папирос. А разносчик стоял в десяти шагах от ворот с лотком. Я выскочил из ворот, волк — за мной. Беру у разносчика сдачи и слышу — сзади собачий лай, рывканье, склока. Оглянулся — ай, беда! Сидит мой волк, прижался в угол ворот, а две большие собаки набросились, приперли его, наступают. Волк головой крутит, глазищи горят, и зубы лязгают быстро, как выстрелы: хляст! хляст! Вправо, влево!

Собаки напирают, ищут местечка, где б ухватить, и лай такой стоит, что моего крика не слышно. Я бросился к волку. Собаки, видно, поняли, что вот человек бежит им на помощь, и одна бросилась на волка.

Мигнуть не успел, как волк рванул ее за загривок и швырнул на мостовую. Она покатилась и с визгом пустилась прочь. Другая прыгнула за меня.

Волк ринулся, сбил меня с ног, но я успел ухватить его за ошейник, и он проволок меня шага два по мостовой. Лоточник с лотком скорей в сторону. А волк рвется, я на спине барахтаюсь, ошейник не отпускаю.

Тут выбежала из ворот Аннушка. Она забежала спереди и уткнула волчью морду к себе в колени.

— Пускайте,— кричит,— я уж взяла!

Верно: Аннушка взяла волка за ошейник, и мы вдвоем увели его домой.

Когда я потом вышел за ворота, то увидел кровь. Кровавая дорожка шла через площадь, куда побежала собака. Я вспомнил, что на наш скандал собралось смотреть много народу, а из окон высунулись жильцы. И кто-то кричал: «Бешеная! Бешеная!»

Это кричала генеральша, что жила надо мной.

БЕДА

Я два дня не выпускал волка во двор, только по вечерам водил его на цепочке гулять. На вторую ночь он завыл, и завыл нестерпимо: громко, как труба, и так отчаянно, так тоскливо, будто ревет над покойником. Мне в потолок постучали.

Я выскочил с волком во двор. Я видел, как в окнах вспыхнул свет, как замелькала тень. Видно, барыня всполошилась.

Наутро я слышал, как во дворе она кричала на дворника:

— Безобразие! Где это позволяют держать бешеных собак в доме? Воеет волком по ночам. Всю ночь не спала. Сейчас же заявлю. Сейчас же!

Аннушка принесла овсянку волку вся заплаканная.

— Что случилось? — спрашиваю.

— Да уж чего хуже,— скандалит барыня. В полицию, говорит, заявлю! Так дворника этого, мужа моего, значит, вон из дому: укрывает бешеных собак, ни за чем, говорит, не смотрит. А он мне как родной.

— Кто это? — говорю.

— Да Волчик-то! — И присела к нему, гладит.— Кушай, кушай, родименький. Сиротинка моя!

Когда я шел со службы домой, меня на улице остановил полицейский пристав:

— Простите, это вы волка держите?

Я смотрел на пристава и не знал, что сказать.

— Да ведь я давно знаю,— говорит пристав. Ухмыляется и ус покручивает.— Там, видите, жалоба поступила. Генеральша Чистякова. Но, знаете, вот

что вам посоветую: подарите-ка мне вашего зверя, ей-богу.— И пристав просительно улыбнулся.— Ей-богу, подарите. У меня в имении овцы, а стерегут их овчарки. Вот этакие.— И показал почти на метр от земли.— Так вот от вашего волка хорошие детки будут — злые, первый сорт. И он с собаками сдружится, на воле жить будет. А? Право же. А в городе вам одни скандалы с ним будут. Это уж я ручаюсь, что скандалы будут.— И тут пристав нахмурился.— Вот уж одна жалоба есть: имейте в виду. Так как же? По рукам, что ли?

— Нет,— сказал я.— Мне жалко дарить. Я как-нибудь устрою.

— Ну, продайте! — крикнул пристав.— Продайте, черт возьми! Сколько хотите?

— Нет, и не продам,— сказал я и пошел скорее прочь.

— Так я украду! — крикнул пристав мне вслед.— Слышите: у-кра-ду!

Я махнул рукой и пошел еще скорей.

Дома я рассказал Аннушке, что говорил пристав.

— Берегите волка,— сказал я.

Аннушка ничего не ответила, только насупилась.

На дворе я столкнулся с генеральшей Чистяковой. Она вдруг загородила мне дорогу. Глядит мне зло в глаза, и нижняя губа трясется. И вдруг как стукнет зонтиком об пол:

— Скоро ли мы избавимся от опасности?

— От какой? — спрашиваю.

— От собаки от бешеной! — кричит генеральша.

— Вас, видно, мадам, покусала, только это не моя.

И я пошел в ворота.

ИЗ ПЛЕНА

Прошло дней пять. Я был на службе. Мне сказали, что меня спрашивает какая-то женщина, и чтоб сейчас, немедленно. Я побежал. На лестнице стояла Аннушка.

— Ой, бегите,— говорит,— скорей бегите: волка нашего пристав в участок взял. Там в полиции сидит.

Я схватил шапку. По дороге Аннушка мне сказала, что пристав приказал дворнику отвести волка в

полицию и что дворник не посмел ослушаться: отвел и привязал во дворе в полиции.

Когда я открыл калитку в полицейских воротах, то сразу увидел в конце двора гурьбу народа: городовые и пожарные густой кучей стояли, галдели, вскрикивали. Я быстро прошел через двор и, уж когда подходил, слышал, как кричали:

— Что, серый, попался?

Я протолкался через людей. Волк на цепочке был привязан к кольцу. Он сидел на задних лапах, поджал хвост и огрызался на городских. Волк первый заметил меня. Он дернулся, вскочил на задние лапы и натянул цепь. Все отпрянули назад. Я снял цепь с кольца и быстро намотал на руку.

Кругом заголосили:

— Куда ты его? Что он, твой?

— А если ты хозяин, так возьми! — крикнул я.

Все расступились. Вдруг кто-то заорал:

— Калитку на запор, скорей!

И один городской побежал бегом к воротам.

— Стой! Волка спущу! — закричал я на весь двор.

Городовой отскочил и стал.

А волк меня так тянул, что я едва вприпрыжку поспевал за ним. Мы добежали до калитки, я откинул дверь, волк прыгнул через порог и бросился вправо, домой. Сзади засвистели. Мы были уже за углом. Сейчас площадь, а через площадь и наш дом. Я слышал, что сзади топали ноги, свистели свистки. Но я не оглядывался и бежал. Вот сейчас площадь. Площадь пустая. А вон Аннушка стоит у ворот. Я бросил цепочку, и волк громадными прыжками стал устилать к дому. Аннушка присела на корточки, и я видел, как она поймала его за шею.

Я перевел дух и оглянулся: двое городских оставались. Один зло плюнул в землю и махнул рукой.

СОВСЕМ КОНЕЦ

Я решил переехать в другой район, где этот пристав не начальник и где уж он ничего не значит. Я стал подыскивать новую квартиру. Я корил дворника за подлость:

— Зачем же было уводить волка у меня? За что же гадость мне такую делать?

— Да вы,— говорит,— в мое положение войдите: вам волк — забава, а ведь если я его не приведу, когда велют, это выходит, что с места вон. Я ведь только метлой и могу орудовать. Выгонят — куда пойду? Вы меня, что ли, кормить будете? Разве к вам в волки наняться?

Я уже не знал, что говорить. Ладно, перееду.

Я видал пристава через улицу. Он сделал хитрое лицо и лукаво погрозил мне пальцем. А я ему тоже.

Я купил волку намордник. Он сначала срывал его лапами, но все-таки привык, и теперь, в ошейнике, с намордником, он был совсем как собака.

Все свободное время я ходил с волком — мы искали квартиру. Я уж совсем нашел, оставалось только переехать.

И вот я раз вернулся домой со службы. В воротах Аннушка в слезах:

— Опять! Опять!

— Что, увели? — И я дернулся, чтоб бежать в полицию.

Но Аннушка ухватила меня за рукав:

— Без дела пойдете. Увез, увез, окаянный, к себе! Сама видела, как на подводу поклали. Связали — и на сено. А коней не удержать.

Я все-таки побежал в участок. Пристава не было: он уехал к себе в имение.

Я узнал: все было, как сказала Аннушка.

ПРО ОБЕЗЬЯНКУ

Мне было двенадцать лет, и я учился в школе. Раз на перемене подходит ко мне товарищ мой Юхименко и говорит:

— Хочешь, я тебе обезьянку дам?

Я не поверил — думал, он мне сейчас шутку какую-нибудь устроит так, что искры из глаз посыплются, и скажет: «Вот это и есть «обезьянка». Не таковский я.

— Ладно,— говорю,— знаем.

— Нет,— говорит,— в самом деле. Живую обезь-

янку. Она хорошая. Ее Яшкой зовут. А папа сердится.

— На кого?

— Да на нас с Яшкой. Убирай, говорит, куда знаешь. Я думаю, что к тебе всего лучше.

После уроков пошли мы к нему. Я все еще не верил. Неужели, думал, живая обезьянка у меня будет? И все спрашивал, какая она. А Юхименко говорит:

— Вот увидишь, не бойся, она маленькая.

Действительно, оказалась маленькая. Если на лапки встанет, то не больше полуаршина. Мордочка сморщенная, старушечья, а глазки живые, блестящие. Шерсть на ней рыжая, а лапки черные. Как будто человечьи руки в перчатках черных. На ней был надет синий жилет.

Юхименко закричал:

— Яшка, Яшка, иди! Что я дам!

И засунул руку в карман. Обезьянка закричала: «Ай, ай!» — и в два прыжка вскочила Юхименке на руки. Он сейчас же сунул ее в шинель, за пазуху.

— Идем, — говорит.

Я глазам своим не верил. Идем по улице, несем такое чудо, и никто не знает, что у нас за пазухой.

Дорогой Юхименко мне говорил, чем кормить.

— Все ест, все давай. Сладкое любит. Конфеты — беда. Дорвется — непременно обожрется. Чай любит жидкий и чтоб сладкий был. Ты ей внакладку. Два куска. Вприкуску не давай: сахар сожрет, а чай пить не станет.

Я все слушал и думал: я ей и трех кусков не пожалею, миленькая такая, как игрушечный человечек. Тут я вспомнил, что и хвоста у ней нет.

— Ты, — говорю, — хвост отрезал ей под самый корень?

— Она макака, — говорит Юхименко, — у них хвостов не растет.

Пришли мы к нам домой. Мама и девочки сидели за обедом. Мы с Юхименко вошли прямо в шинелях. Я говорю:

— А кто у нас есть!

Все обернулись. Юхименко распахнул шинель. Никто еще ничего разобрать не успел, а Яшка как прыгнет с Юхименки маме на голову; толкнулся

ножками — и на буфет. Всю прическу маме осадил.

Все вскочили, закричали:

— Ой, кто, кто это?

А Яшка уселся на буфет и строит морды, чавкает, зубки скалит.

Юхименко боялся, что сейчас ругать его будут, и скорей к двери. На него и не смотрели — все глядели на обезьянку. И вдруг девочки все в один голос затаили:

— Какая хорошенькая!

А мама все прическу прилаживала.

— Откуда это?

Я оглянулся. Юхименки уже нет. Значит, я остался хозяином. И я захотел показать, что знаю, как с обезьянкой надо. Я засунул руку в карман и крикнул, как давеча Юхименко:

— Яшка, Яшка! Иди, я тебе что дам!

Все ждали. А Яшка и не глянул — стал чесаться мелко и часто черной лапочкой.

До самого вечера Яшка не спускался вниз, а прыгал по верхам: с буфета на дверь, с двери на шкаф, оттуда на печку.

Вечером отец сказал:

— Нельзя ее на ночь так оставлять, она квартиру вверх дном переверотит.

И я начал ловить Яшку. Я к буфету — он на печь. Я его оттуда щеткой — он прыг на часы. Качнулись часы и стали. А Яшка уже на занавесках качается. Оттуда на картину, картина покосилась, — я боялся, что Яшка кинется на висячую лампу.

Но тут уже все собрались и стали гоняться за Яшкой. В него кидали мячиком, катушками, спичками и наконец загнали в угол.

Яшка прижался к стене, оскалился и защелкал языком — пугать начал. Но его накрыли шерстяным платком и завернули, запутали.

Яшка барахтался, кричал, но его скоро укрутили так, что осталась торчать одна голова. Он вертел головой, хлопал глазами и, казалось, сейчас заплачет от обиды.

Не пеленать же обезьяну каждый раз на ночь! Отец сказал:

— Привязать. За жилет — и к ножке, к столу.

Я принес веревку, нащупал у Яшки на спине пу-

говицу, продел веревку в петлю и крепко завязал. Жилет у Яшки на спине застегивался на три пуговики. Потом я поднес Яшку, как он был, закутанного, к столу, привязал веревку к ножке и только тогда размотал платок.

Ух, как он начал скакать! Но где ему было порвать веревку! Он покричал, позлился и сел печально на полу.

Я достал из буфета сахару и дал Яшке. Он схватил черной лапочкой кусок, заткнул за щеку. От этого вся мордочка у него скривилась.

Я попросил у Яшки лапу. Он протянул мне свою ручку.

Тут я рассмотрел, какие на ней хорошенькие черные ноготки. Игрушечная живая ручка. Я стал гладить лапку и думаю: совсем как ребеночек. И пощекотал ему ладошку. А ребеночек-то как дернет лапку — раз, и меня по щеке. Я и мигнуть не успел, а он надавал мне оплеух и прыг под стол. Сел и скалится. Вот и ребеночек!

Но тут меня погнали спать.

Я хотел Яшку привязать к своей кровати, но мне не позволили. Я все прислушивался, что Яшка делает, и думал, что непременно ему надо устроить кроватку, чтоб он спал, как люди, и укрывался одеяльцем. Голову бы клал на подушечку. Думал, думал и заснул.

Утром вскочил и, не одеваясь, к Яшке. Нет Яшки на веревке. Вербка есть, на веревке жилет привязан, а обезьянки нет. Смотрю, все три пуговицы сзади расстегнуты. Это он расстегнул жилет, оставил его на веревке, а сам драла. Я искать по комнате. Шлепаю босыми ногами. Нигде нет. Я перепугался. А ну как убежал? Дня не пробыл, и вот нá тебе! Я на шкафы заглядывал, в печку — нигде. Убежал, значит, на улицу. А на улице мороз — замерзнет, бедный. И самому стало холодно. Побежал одеваться. Вдруг вижу, в моей же кровати что-то возится. Одеяло шевелится. Я даже вздрогнул. Вот он где! Это ему холодно на полу стало, он удрал и ко мне на кровать. Забился под одеяло. А я спал и не знал. Яшка спр-сонья не дичился, дался в руки, и я напялил на него снова синий жилет.

Когда сели пить чай, Яшка вскочил на стол, ог-

ляделся, сейчас же нашел сахарницу, запустил лапу и прыг на дверь. Он прыгал так легко, что казалось — летает, не прыгает. На ногах у обезьяны пальцы, как на руках, и Яшка мог хватать ногами. Он так и делал. Сидит, как ребенок, на руках у кого-нибудь и ручки сложил, а сам ногой со стола тянет что-нибудь.

Стащит ножик и ну с ножом скакать. Это чтобы у него отнимали, а он будет удирать. Чай Яшке дали в стакане. Он обнял стакан, как ведро, пил и чмокал. Я уж не пожалел сахару.

Когда я ушел в школу, я привязал Яшку к дверям, к ручке. На этот раз обвязал его вокруг пояса веревкой, чтобы уж не мог сорваться. Когда я пришел домой, то из прихожей увидал, чем Яшка занимается. Он висел на дверной ручке и катался на дверях, как на карусели. Оттолкнется от косяка и едет до стены. Пихнет ножкой в стену и едет назад.

Когда я сел готовить уроки, я посадил Яшку на стол. Ему очень нравилось греться около лампы. Он дремал, как старичок на солнышке, покачивался и, прищурясь, глядел, как я тыкаю пером в чернила. Учитель у нас был строгий, и я чистенько написал страницу. Промокать не хотелось, чтобы не испортить. Оставил сохнуть. Прихожу и вижу: сидит Яков на тетради, макает пальчик в чернильницу, ворчит и выводит чернильные вавилоны по моему писанью. Ах ты, дрянь! Я чуть не заплакал с горя. Бросился на Яшку. Да куда! Он на занавески — все занавески чернилами перепачкал. Вот оно почему Юхименкин папа на них с Яшкой сердился...

Но раз и мой папа рассердился на Яшку. Яшка обрывал цветы, что стояли у нас на окнах. Сорвет лист и дразнит. Отец поймал и отдул Яшку. А потом привязал его в наказание на лестнице, что вела на чердак. Узенькая лесенка. А широкая шла из квартиры вниз.

Вот отец идет утром на службу. Почистился, надел шляпу, спускается по лестнице. Хлоп! Штука-турка падает. Отец остановился, стряхнул со шляпы. Глянул вверх — никого. Только пошел — хлоп, опять кусок известки прямо на голову. Что такое?

А мне сбоку было видно, как орудовал Яшка. Он наломал от стенки известки, разложил по краям ступенек, а сам прилег, притаился на лестнице, как раз

у отца над головой. Только отец пошел, а Яшка тихонечко толк ножкой штукатурку со ступеньки и так ловко примерил, что прямо отцу на шляпу,— это он ему мстил за то, что отец вздул его накануне.

Но когда началась настоящая зима, завыл ветер в грубах, завалило окна снегом, Яшка стал грустным. Я его все грел, прижимал к себе. Мордочка у Яшки стала печальная, обвисшая, он подвизгивал и жался ко мне. Я попробовал сунуть его за пазуху, под куртку. Яшка сейчас же там устроился: он схватился всеми четырьмя лапками за рубаху и так повис, как приклеился. Он так и спал там, не разжимая лап. Забудешь другой раз, что у тебя живой набрюшник под курткой, и обопрешься о стол. Яшка сейчас лапкой заскребет мне бок: дает мне знать, чтоб осторожней.

Вот раз в воскресенье пришли в гости девочки. Сели завтракать. Яшка смирно сидел у меня за пазухой, и его совсем не было заметно. Под конец rozdали конфеты. Только я стал первую разворачивать, вдруг из-за пазухи, прямо из моего живота, вытянулась мохнатая ручка, ухватила конфету и назад. Девочки взвизгнули от страха. А это Яшка услышал, что бумагой шелестят, и догадался, что едят конфеты. А я девочкам говорю: «Это у меня третья рука; я этой рукой прямо в живот конфеты сую, чтоб долго не возиться». Но уже все догадались, что это обезьянка, и из-под куртки слышно было, как хрустит конфета: это Яшка грыз и чавкал, как будто я животом жую.

Яшка долго злился на отца. Примирился Яшка с ним из-за конфет. Отец мой как раз бросил курить и вместо папирос носил в портсигаре маленькие конфетки. И каждый раз после обеда отец открывал тугую крышку портсигара большим пальцем, ногтем, и доставал конфетки. Яшка тут как тут: сидит на коленях и ждет,— ерзает, тянется. Вот отец раз и отдал весь портсигар Яшке. Яшка взял его в руку, а другой рукой, совершенно как мой отец, стал подковыривать большим пальцем крышку. Пальчик у него маленький, а крышка тугая и плотная, и ничего не выходит у Яшеньки. Он завыл с досады. А конфеты брякают. Тогда Яшка схватил отца за большой палец и его ногтем, как стамеской, стал отковыривать крыш-

ку. Отца это рассмешило, он открыл крышку и поднес Яшке. Яшка сразу запустил лапу, нагребал полную горсть, скорее в рот и бегом прочь. Не каждый же день такое счастье!

Был у нас знакомый доктор. Болтать любил — беда. Особенно за обедом. Все уж кончили, у него на тарелке все остыло, тогда он только хватится — поковыряет, наспех глотнет два куска.

— Благодарю вас, я сыт.

Вот раз обедает он у нас, ткнул вилку в картошку и вилкой этой размахивает — говорит. Разошелся — не унять. А Яшка, вижу, по спинке стула поднимается, тихонечко подкрался и сел у доктора за плечом. Доктор говорит:

— И понимаете, тут как раз...— И остановил вилку с картошкой возле уха — на один момент всего.

Яшенька лапочкой тихонько за картошку и снял ее с вилки — осторожно, как вор. А доктор дальше:

— И представьте себе...— И тык пустой вилкой себе в рот. Сконфузился — думал, стряхнул картошку, когда руками махал, оглядывается.

А Яшки уж нет — сидит в углу и прожевать картошку не может, всю глотку забил.

Доктор сам смеялся, а все-таки обиделся на Яшку.

Яшке устроили в корзинке постель: с простыней, одеяльцем, подушкой. Но Яшка не хотел спать по-человечьи: все наматывал на себя клубком и таким чуелом сидел всю ночь. Ему сшили платице, зелененькое, с пелеринкой, и стал он похож на стриженую девочку из приюта.

Вот раз я слышу звон в соседней комнате. Что такое? Пробираюсь тихонько и вижу: стоит на подоконнике Яшка в зеленом платице, в одной руке у него ламповое стекло, а в другой ежик, и он ежиком с остервенением чистит стекло. В такую ярость пришел, что не слышал, как я вошел. Это он видел, как стекла чистили, и давай сам пробовать.

А то оставишь его вечером с лампой, он отвернет огонь полным пламенем — лампа коптит, сажа летает по комнате, а он сидит и рычит на лампу.

Беда стало с Яшкой, хоть в клетку сажай. Я его и ругал и бил. Но долго не мог на него сердиться. Когда Яшка хотел понравиться, он становился очень

ласковым, залезал на плечо и начинал в голове искать. Это значит — он вас уж очень любит.

Надо ему выпросить что-нибудь — конфет там или яблоко, — сейчас залезет на плечо и заботливо начинает лапками перебирать в волосах: ищет и ноготком поскребывает. Ничего не находит, а делает вид, что поймал зверя: выкусывает с пальчиков чего-то.

Вот раз пришла к нам в гости дама. Она считала, что она красавица. Разряженная. Вся так шелком и шуршит. На голове не прическа, а прямо целая беседка из волос накручена — в завитках, в локончиках. А на шее на длинной цепочке зеркальце в серебряной оправе.

Яшка осторожно к ней по полу подскочил.

— Ах, какая обезьянка миловидная! — говорит дама. И давай зеркальцем с Яшкой играть.

Яшка поймал зеркальце, повертел — прыг на колени к даме и стал зеркальце на зуб пробовать.

Дама отняла зеркальце, зажала в руке. А Яшке хочется зеркало получить. Дама погладила небрежно Яшку перчаткой и потихоньку спихивает с колен. Вот Яшка и решил понравиться, подольститься к даме. Прыг ей на плечо. Крепко ухватился за кружева задними лапками и взялся за прическу. Раскопал завитки и стал искать. Дама покраснела.

— Пошел, пошел! — говорит.

Не тут-то было! Яшка еще больше старается: скребет ноготками, зубками щелкает.

Дама эта всегда против зеркала садилась, чтоб на себя полюбоваться, и видит в зеркало, что взлохматил ее Яшка, — чуть не плачет. Я двинулся на выручку. Куда там! Яшка вцепился что было силы в волосы и на меня глядит дико. Дама дернула его за шиворот, и своротил ей Яшка прическу. Глянула на себя в зеркало — чучело чучелом. Я замахнулся, спугнул Яшку, а гостя наша схватилась за голову и в дверь.

— Безобразие, — говорит, — безобразие! — И не попрощалась ни с кем.

«Ну, — думаю, — держу до весны и отдам кому-нибудь, если Юхименко не возьмет. Уж столько мне попадало за эту обезьянку».

И вот настала весна. Потеплело. Яшка ожил и

еще больше проказил. Очень ему хотелось на двор, на волю. А двор у нас был огромный, с десятину. Посреди двора был сложен горой казенный уголь, а вокруг склады с товаром. И от воров сторожá держали на дворе целую свору собак. Собаки большие, злые. А всеми собаками командовал рыжий пес Каштан. На кого Каштан зарычит, на того все собаки бросаются. Кого Каштан пропустит, и собаки не тронут. А чужую собаку бил Каштан с разбегу грудью. Ударит, с ног собьет и стоит над ней, рычит, а та уж и шелохнуться боится.

Я посмотрел в окно — вижу, нет собак во дворе. Дай, думаю, пойду выведу Яшеньку погулять первый раз. Я надел на него зелененькое платице, чтобы он не простудился, посадил к себе на плечо и пошел. Только я двери раскрыл, Яшка — прыг наземь и побежал по двору. И вдруг, откуда ни возьмись, всястая собачья, и Каштан впереди, прямо на Яшку. А он, как зелененькая куколка, стоит маленький. Я уж решил, что пропал Яшка — сейчас разорвут. Каштан сунулся к Яшке. Но Яшка повернулся к нему, присел, прицелился. Каштан стал за шаг от обезьянки, оскалился и ворчал, но не решался броситься на такое чудо. Собаки все ошетинились и ждали, что Каштан.

Я хотел броситься выручать. Но вдруг Яшка прыгнул и в один момент уселся Каштану на шею. И тут шерсть клочьями полетела с Каштана. По морде и глазам бил Яшка, так что лап не видно было. Взыл Каштан, и таким ужасным голосом, что все собаки врассыпную бросились. Каштан сломя голову пустился бежать, а Яшка сидит, вцепился ногами в шерсть, крепко держится, а руками рвет Каштана за уши, щиплет шерсть клочьями. Каштан с ума сошел: носится вокруг угольной горы с диким воем. Раз три обежал Яшка верхом вокруг двора и на ходу спрыгнул на уголь. Взобрался не торопясь на самый верх. Там была деревянная будка; он влез на будку, уселся и стал чесать себе бок как ни в чем не бывало. Вот, мол, я, — мне нипочем!

А Каштан — в ворота от страшного зверя.

С тех пор я смело стал выпускать Яшку во двор: только Яшка с крыльца — все собаки в ворота. Яшка никого не боялся.

Приедут во двор подводы, весь двор забьют, пройти негде. А Яшка с возу на воз перелетает. Вскочит лошади на спину — лошадь топчется, гривой трясет, фыркает, а Яшка не спеша на другую перепрыгивает. Извозчики только смеются и удивляются:

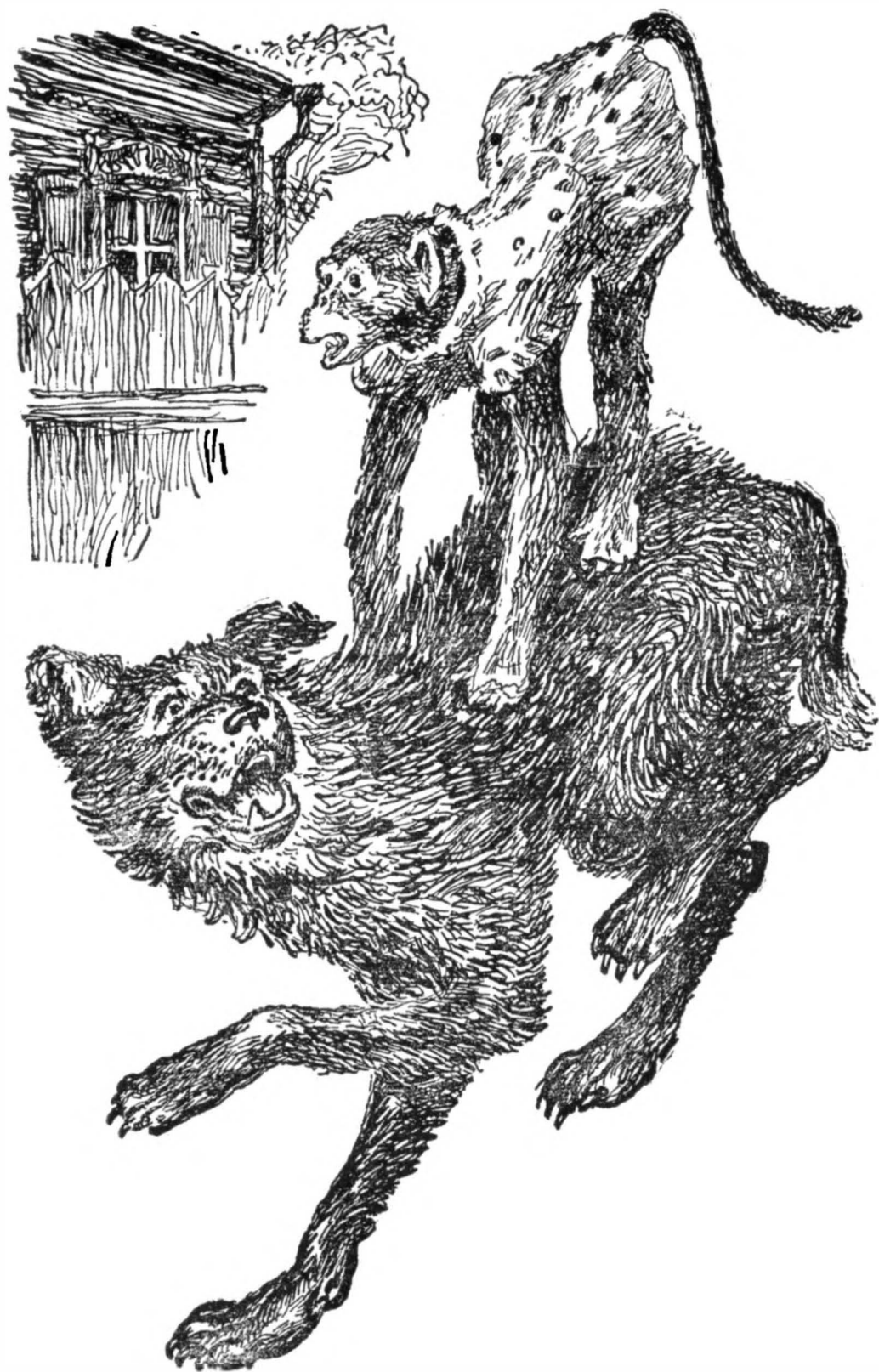
— Смотри, какая сатана прыгает. Ишь ты! У-ух!

А Яшка — на мешки. Ищет щелочки. Просунет лапку и щупает, что там. Нащупает, где подсолнухи, сидит и тут же на возу щелкает. Бывало, что и орехи нащупает Яшка. Набьет за щеки и во все четыре руки старается нагрести.

Но вот нашелся у Якова враг. Да какой! Во дворе был кот. Ничей. Он жил при конторе, и все его кормили объедками. Он разжирел, стал большой, как собака. Злой был и царапучий.

И вот раз под вечер гулял Яшка по двору. Я его никак не мог дозваться домой. Вижу, вышел на двор котище и прыг на скамью, что стояла под деревом. Яшка как увидел кота — прямо к нему. Присел и идет не спеша на четырех лапах. Прямо к скамье и глаз с кота не спускает. Кот подобрал лапы, спину нагорбил, приготовился. А Яшка все ближе ползет. Кот глаза вытаращил, пятится. Яшка — на скамью. Кот все задом на другой край, к дереву. У меня сердце замерло. А Яков по скамье ползет на кота. Кот уж в комок сжался, подобрался весь. И вдруг — прыг, да не на Яшку, а на дерево. Вцепился за ствол и глядит сверху на обезьянку. А Яшка все тем же ходом к дереву. Кот поцарапался выше — привык на деревьях спасаться. А Яшка на дерево, и все не спеша, целится на кота черными глазками. Кот выше, выше, влез на ветку и сел с самого края. Смотрит, что Яшка будет делать. А Яков по той же ветке ползет и так уверенно, будто он сроду ничего другого не делал, а только котов ловил. Кот уж на самом краю, на тоненькой веточке еле держится, качается. А Яков ползет и ползет, цепко перебирает всеми четырьмя ручками. Вдруг кот прыг с самого верха на мостовую, встряхнулся и во весь дух прочь без оглядки. А Яшка с дерева ему вдогонку: «Йай, йау!» — каким-то страшным, звериным голосом, — я у него никогда такого не слышал.

Теперь уж Яков стал совсем царем во дворе. Дома он уж есть ничего не хотел, только пил чай с саха-



ром. И раз так на дворе изюму наелся, что еле-еле его отходили. Яшка стонал, на глазах слезы, и на всех капризно смотрел. Всем было сначала очень жалко Яшку, но, когда он увидел, что с ним возятся, стал ломаться и разбрасывать руки, закидывать голову и подвывать на разные голоса. Решили его укутать и дать касторки. Пусть знает.

А касторка ему так понравилась, что он стал орать, чтобы ему еще дали. Его запеленали и три дня не пускали на двор.

Яшка скоро поправился и стал рваться на двор. Я за него не боялся. Поймать его никто не мог, и Яшка целыми днями прыгал по двору. Дома стало спокойнее, и мне меньше влетало за Яшку. И как настала осень, все в доме в один голос:

— Куда хочешь убирай свою обезьянку или сажай в клетку. А чтоб по всей квартире эта сатана не носилась.

То говорили, какая хорошенькая, а теперь, думаю, сатана стала. И как только началось ученье, я стал искать в классе, кому бы сплавить Яшку.

Подыскал наконец товарища, отозвал в сторонку и сказал:

— Хочешь, я тебе обезьянку подарю? Живую.

Не знаю уж, кому он потом Яшку сплавил. Но первое время, как не стало Яшки в доме, я видел, что все немного скучали, хоть признаваться и не хотели.

МАНГУСТА

Я очень хотел, чтобы у меня была настоящая, живая мангуста. Своя собственная. И я решил: когда наш пароход придет на остров Цейлон, я куплю себе мангусту и отдам все деньги, сколько ни спросят.

И вот наш пароход у острова Цейлон. Я хотел скорей бежать на берег, скорей найти, где они продаются, эти зверьки. И вдруг к нам на пароход приходит черный человек (тамошние люди все черные), и все товарищи обступили его, толпятся, смеются, шумят. И кто-то крикнул: «Мангусты!» Я бросился, всех растолкал и вижу — у черного человека в руках клет-

ка, а в ней серые зверьки. Я так боялся, чтобы кто-нибудь не перехватил, что закричал прямо в лицо этому человеку:

— Сколько?

Он даже испугался сначала, так я крикнул. Потом понял, показал три пальца и сунул мне в руки клетку. Значит, всего три рубля, с клеткой вместе, и не одна, а две мангусты! Я сейчас же расплатился и перевел дух: я совсем запыхался от радости. Так обрадовался, что забыл спросить этого черного человека, чем кормить мангуст, ручные они или дикие. А вдруг они кусаются? Я спохватился, побежал за человеком, но его уже и след простыл.

Я решил сам узнать, кусаются мангусты или нет. Я просунул палец через прутья клетки. И просунуть-то не успел, как уж слышу — готово: мой палец схватили. Схватили маленькие лапки, цепкие, с ноготками. Быстро-быстро кусает меня мангуста за палец. Но совсем не больно — это она нарочно, так — играет. А другая забилась в угол клетки и глядит искоса черным блестящим глазом.

Мне скорей захотелось взять на руки, погладить эту, что кусает для шутки. И только я приоткрыл клетку, эта самая мангуста — юрк! — и уж побежала по каюте. Она суежилась, бегала по полу, все нюхала и крикала: кррык! кррык! — как будто ворона. Я хотел ее поймать, нагнулся, протянул руку, и вмиг мангуста мелькнула мимо моей руки и уже в рукаве. Я поднял руку — и готово: мангуста уж за пазухой. Она выглянула из-за пазухи, крикнула весело и снова спряталась. И вот слышу — она уже под мышкой, пробирается в другой рукав и выскочила из другого рукава на волю. Я хотел ее погладить и только поднес руку, как вдруг мангуста подскочила вверх сразу на всех четырех лапах, как будто под каждой лапой пружинка. Я даже руку отдернул, будто от выстрела. А мангуста снизу глянула на меня веселыми глазками и снова: кррык! И смотрю — уж сама на колени ко мне взобралась и тут свои фокусы показывает: то свернется, то вмиг расправится, то хвост трубой, то вдруг голову просунет меж задних ног. Она так ласково, так весело со мной играла, а тут вдруг постучали в каюту и вызвали меня на работу.

Надо было погрузить на палубу штук пятнадцать огромных стволов каких-то индийских деревьев. Они были корявые, с обломленными сучьями, дуплистые, толщенные, в коре, — как были из лесу. Но с отпиленного конца видно было, какие они внутри красивые — розовые, красные, совсем черные! Мы клали их горкой на палубу и накрепко укручивали цепями, чтобы в море не разболталось. Я работал и все думал: «Что там мои мангусты? Ведь я им ничего поесть не оставил».

Я спрашивал черных грузчиков, тамошних людей, что пришли с берега, не знают ли они, чем кормить мангусту, но они ничего не понимали и только улыбались. А наши говорили:

— Давай что попало: она сама разберет, что ей надо.

Я выпросил у повара мясо, купил бананов, притащил хлеба, блюдец молока. Все это поставил посреди каюты и открыл клетку. Сам залез на койку и стал глядеть. Из клетки выскочила дикая мангуста, и они вместе с ручной прямо бросились на мясо. Они рвали его зубами, крякали и урчали, лакали молоко, потом ручная ухватила банан и потащила его в угол. Дикая — прыг! — и уж рядом с ней. Я хотел поглядеть, что будет, вскочил с койки, но уж поздно: мангусты бежали назад. Они облизывали мордочки, а от банана остались на полу одни шкурки, как тряпочки.

Наутро мы были уже в море. Я всю свою каюту увесил гирляндами бананов. Они на веревочках качались под потолком. Это для мангуст. Я буду давать понемногу — надолго хватит. Я выпустил ручную мангусту, и она теперь бегала по мне, а я лежал полужакрыв глаза и недвижно.

Гляжу — мангуста прыгнула на полку, где были книги. Вот она перелезла на раму круглого парового окна. Рама слегка вихлялась — паровик качало. Мангуста покрепче примостилась, глянула вниз на меня. Я притаился. Мангуста толкнула лапкой в стенку, и рама поехала вбок. И в тот самый миг, когда рама была против банана, мангуста рванулась, прыгнула и обеими лапками ухватила банан. Она повисла на момент в воздухе, под самым потолком. Но банан оторвался, и мангуста шлепнулась об пол. Нет!

Шлепнулся-то банан. Мангуста прыгнула на все четыре лапки. Я привскочил поглядеть, но мангуста уже возилась под койкой. Через минуту она вышла с замазанной мордой. Она побрякивала от удовольствия.

Эге! Пришлось перевесить бананы к самой середине каюты: мангуста уже пробовала по полотенцу вскарабкаться повыше. Лазила она, как обезьяна: у нее лапки как ручки. Цепкие, ловкие, проворные. Она совсем меня не боялась. Я выпустил ее на палубу погулять, на солнце. Она сразу по-хозяйски все обнюхала и бегала по палубе так, будто она и сроду нигде больше не была и тут ее дом.

Но на пароходе у нас был свой давнишний хозяин на палубе. Нет, не капитан, а кот. Громадный, откормленный, в медном ошейнике. Он важно ходил по палубе, когда было сухо. Сухо было и в этот день. И солнце поднялось над самой мачтой. Кот вышел из кухни, поглядел, все ли в порядке.

Он увидел мангусту и быстро пошел, а потом начал осторожно красться. Он шел по железной трубе. Она тянулась по палубе. Как раз у этой трубы суежилась мангуста. Она как будто и не видела кота. А кот был уж совсем над нею. Ему оставалось только протянуть лапу, чтобы вцепиться когтями ей в спину. Он выжидал, чтобы поудобней. Я сразу сообразил, что сейчас будет. Мангуста не видит, она спиной к коту, она разнюхивает палубу как ни в чем не бывало; кот уж прицелился.

Я бросился бегом. Но я не добежал. Кот протянул лапу. И в тот же миг мангуста просунула голову меж задних лап, разинула пасть, громко каркнула, а хвост — громадный пушистый хвост — поставила вверх столбом, и он стал как ламповый ежик, что стекла чистят. В одно мгновение она обратилась в непонятное, невиданное чудище. Кота отбросило назад, как от каленого железа. Он сразу повернул и, задрвав хвост палкой, понесся прочь без оглядки. А мангуста как ни в чем не бывало снова суежилась и что-то разнюхивала на палубе. Но с тех пор красавца кота редко кто видел. Мангуста на палубе — кота и не сыщешь. Его звали и «кис-кис» и «Васенька». Повар его мясом приманивал, но кота найти нельзя было, хоть обыщи весь пароход. Зато у кухни теперь вертелись мангусты; они кричали, требовали от повара мяса. Бед-

ный Васенька только по ночам пробирался к повару в каюту, и повар его прикармливал мясом. Ночью, когда мангусты были в клетке, наступало Васькино время.

Но вот раз ночью я проснулся от крика на палубе. Тревожно, испуганно кричали люди. Я быстро оделся и выбежал. Кочегар Федор кричал, что сейчас идет он с вахты и вот из этих самых индийских деревьев, вот из этой груды, выползла змея и сейчас же назад спряталась. Что змея — во! — в руку толщиной, чуть ли не две сажени длиной. И вот даже на него сунулась. Никто не верил Федору, но все же на индийские деревья поглядывали с опаской. А вдруг и вправду змея? Ну, не в руку толщиной, а ядовитая? Вот и ходи тут ночью! Кто-то сказал: «Они тепло любят, они к людям в койки заползают». Все примолкли. Вдруг все повернулись ко мне:

— А ну, зверюшек сюда, мангустов ваших! А ну, пусть они...

Я боялся, чтобы ночью не убежала дикая. Но думать было некогда: уже кто-то сбегал ко мне в каюту и уже нес сюда клетку. Я открыл ее около самой груды, где кончались деревья и видны были черные ходы между стволами. Кто-то зажег электрическую люстру. Я видел, как первой юркнула в черный проход ручная. И следом за ней дикая. Я боялся, что им прищемит лапки или хвост среди этих тяжелых бревен. Но уже было поздно: обе мангусты ушли туда.

— Неси лом! — крикнул кто-то.

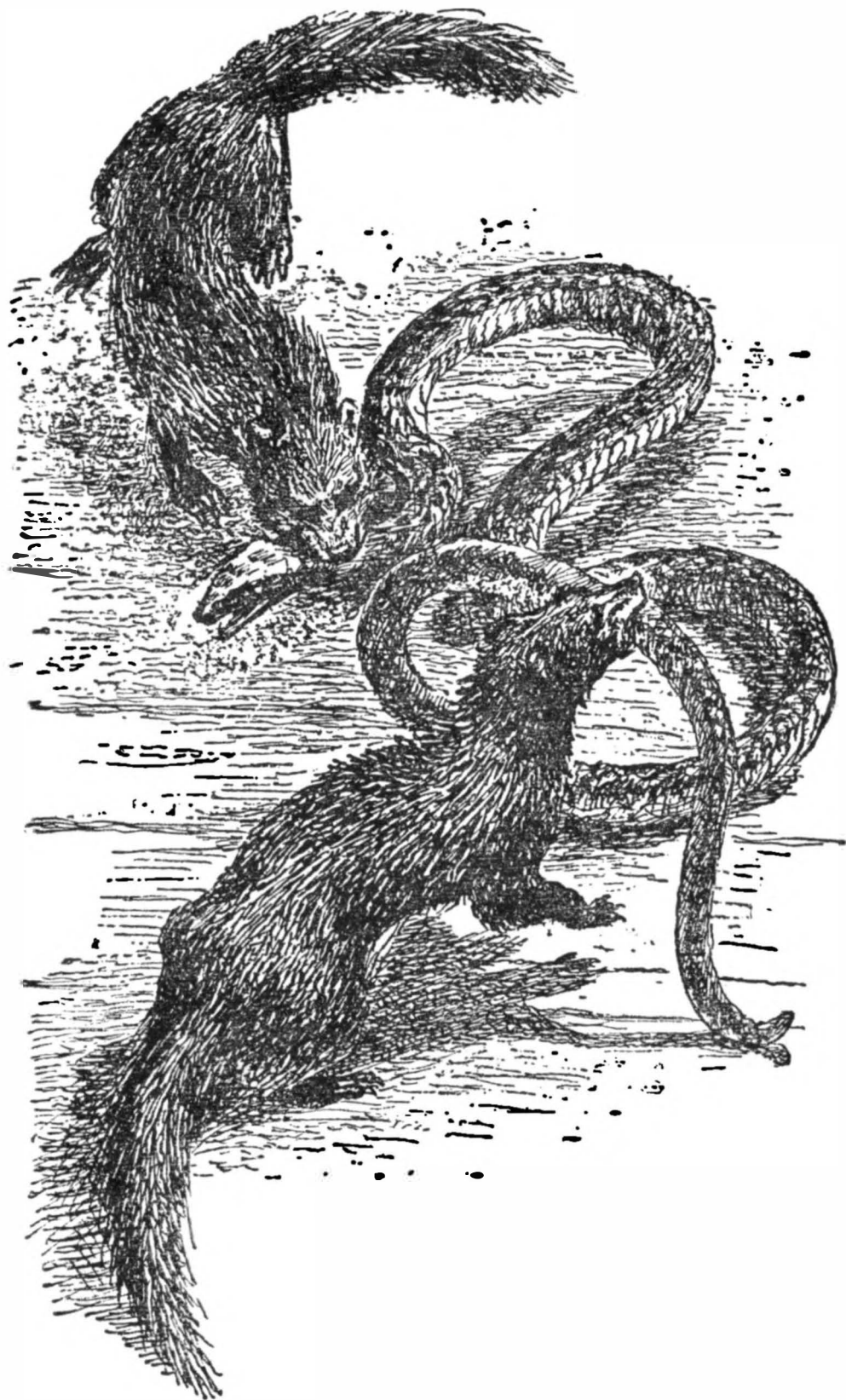
А Федор уж стоял с топором. Потом все примолкли и стали слушать. Но ничего не слышно было, кроме скрипа колод. Вдруг кто-то крикнул:

— Гляди, гляди! Хвост!

Федор замахнулся топором, другие отсунулись дальше. Я схватил Федора за руку. Он с перепугу чуть не хватил топором по хвосту; хвост был не змеи, а мангусты — он то высовывался, то снова втягивался. Потом показались задние лапки. Лапки цеплялись за дерево. Видно, что-то тянуло мангусту назад.

— Помоги кто-нибудь! Видишь, ей не по силам! — крикнул Федор.

— А сам-то чего? Командир какой! — ответили из толпы.



Никто не помогал, а все пятились назад, даже Федор с топором. Вдруг мангуста изловчилась; видно было, как она вся извилась, цепляясь за колоды. Она рванулась и вытянула за собой змеиный хвост. Хвост мотнулся, он вскинул вверх мангусту и брякнул ее о палубу.

— Убил, убил! — закричали кругом.

Но моя мангуста — это была дикая — мигом вскочила на лапы. Она держала змею за хвост, она впиалась в нее своими острыми зубками. Змея сжималась, тянула дикую снова в черный проход. Но дикая упиралась всеми лапками и вытаскивала змею все больше и больше. Змея была толщиной в два пальца, и она била хвостом о палубу, как илетью, а на конце держалась мангуста, и ее бросало из стороны в сторону. Я хотел обрубить этот хвост, но Федор куда-то скрылся вместе с топором. Его звали, но он не откликался. Все в страхе ждали, когда появится змеиная голова. Сейчас уже конец, и вырвется наружувся змея. Это что? Это не змеиная голова — это мангуста! Вот и ручная прыгнула на палубу: она впиалась в шею змеи сбоку. Змея извивалась, рвалась, она стучала мангустами по палубе, а они держались, как пиявки.

Вдруг кто-то крикнул:

— Бей! — и ударил ломом по змее.

Все бросились и кто чем стали молотить. Я боялся, что в переполохе убьют мангуст. Я оторвал от хвоста дикую.

Она была в такой злобе, что укусила меня за руку: она рвалась и царапалась. Я сорвал с себя шапку и завернул ей морду. Ручную оторвал мой товарищ. Мы усадили их в клетку. Они кричали и рвались, хватили зубами решетку.

Я кинул им кусочек мяса, но они и внимания не обратили. Я потушил в каюте свет и пошел прижечь йодом покусанные руки.

А там, на палубе, все еще молотили змею. Потом выкинули за борт.

С этих пор все стали очень любить моих мангуст и таскали им поест что у кого было. Ручная перезнакомилась со всеми, и ее под вечер трудно было дозваться: вечно гостит у кого-нибудь. Она бойко лазила по снастям. И раз под вечер, когда уже зажгли электричество, мангуста полезла на мачту по

канатам, что шли от борта. Все любовались на ее ловкость, глядели, задрав головы. Но вот канат дошел до мачты. Дальше шло голое, скользкое дерево. Но мангуста извернулась всем телом и ухватила за медные трубки. Они шли вдоль мачты. В них — электрические провода к фонарю наверху. Мангуста быстро полезла еще выше. Все снизу захлопали в ладоши. Вдруг электротехник крикнул:

— Там провода голые! — и побежал тушить электричество.

Но мангуста уже схватилась лапкой за голые провода. Ее ударило электрическим током, и она упала с высоты вниз. Ее подхватили, но она уже была неподвижна.

Она была еще теплая. Я скорей понес ее в каюту доктора. Но каюта его была заперта. Я бросился к себе, осторожно уложил мангусту на подушку и побежал искать нашего доктора. «Может быть, он спасет моего зверька?» — думал я. Я бегал по всему пароходу, но кто-то уже сказал доктору, и он быстро шел мне навстречу. Я хотел, чтобы скорей, и тянул доктора за руку. Вошли ко мне.

— Ну, где же она? — сказал доктор.

Действительно, где же? На подушке ее не было. Я посмотрел под койку. Стал шарить там рукой. И вдруг: кррык-кррык! — мангуста выскочила из под койки как ни в чем не бывало — здоровехонька.

Доктор сказал, что электрический ток, наверно, только на время оглушил ее, а пока я бегал за доктором, мангуста оправилась. Как я радовался! Я все ее к лицу прижимал и гладил. И тут все стали приходить ко мне, все радовались и гладили мангусту — так ее любили.

А дикая потом совсем приручилась, и я привез мангуст к себе домой.

БЕСПРИЗОРНАЯ КОШКА'

I

Я жил на берегу моря и ловил рыбу. У меня была лодка, сетки и разные удочки. Перед домом стояла будка, и на цепи огромный пес. Мохнатый, весь в

черных пятнах,— Рябка. Он стерег дом. Кормил я его рыбой. Я работал с мальчиком, и кругом на три версты никого не было. Рябка так привык, что мы с ним разговаривали, и очень простое он понимал. Спросишь его: «Рябка, где Володя?» Рябка хвостом завиляет и повернет морду, куда Володька ушел. Воздух носом тянет, и всегда верно. Бывало, придешь с моря ни с чем, а Рябка ждет рыбы. Вытянется на цепи, подвизгивает.

Обернешься к нему и скажешь сердито:

— Плохи наши дела, Рябка! Вот как...

Он вздохнет, ляжет и положит на лапы голову. Уж и не просит, понимает.

Когда я надолго уезжал в море, я всегда Рябку трепал по спине и уговаривал, чтобы хорошо стерег. И вот хочу отойти от него, а он встанет на задние лапы, натянет цепь и обхватит меня лапами. Да так крепко — не пускает. Не хочет долго один оставаться: и скучно и голодно.

Хорошая была собака!

II

А вот кошки у меня не было, и мыши одолевали. Сетки развесишь, так они в сетки залезут, запутаются и перегрызут нитки, напортят. Я их находил в сетках — запутается другая и попадется. И дома все крадут, что ни положи.

Вот я и пошел в город. Достану, думаю, себе веселую кошечку, она мне всех мышей переловит, а вечером на коленях будет сидеть и мурлыкать. Пришел в город. По всем дворам ходил — ни одной кошки. Ну нигде!

Я стал у людей спрашивать:

— Нет ли у кого кошечки? Я даже деньги заплачу, дайте только.

А на меня сердиться стали:

— До кошек ли теперь? Всюду голод, самим есть нечего, а тут котов корми.

А один сказал:

— Я бы сам кота съел, а не то что его, дармоеда, кормить!

Вот те и на! Куда же это все коты девались? Кот привык жить на готовеньком: нажрался, накрал и

вечером на теплой плите растянулся. И вдруг такая беда! Печи не топлены, хозяева сами черствую корку сосут. И украсть нечего. Да и мышей в голодном доме тоже не сыщешь.

Перевелись коты в городе... А каких, может быть, и голодные люди приели. Так ни одной кошки и не достал.

III

Настала зима, и море замерзло. Ловить рыбу стало нельзя. А у меня было ружье. Вот я зарядил ружье и пошел по берегу. Кого-нибудь подстрелю: на берегу в норах жили дикие кролики.

Вдруг, смотрю, на месте кроличьей норы большая дырка раскопана, как будто бы ход для большого зверя. Я скорее туда.

Я присел и заглянул в нору. Темно. А когда пригляделся, вижу: там в глубине два глаза светятся.

Что, думаю, за зверь такой завелся?

Я сорвал хворостинку — и в нору. А оттуда как зашипит!

Я назад попятился. Фу ты! Да это кошка!

Так вот куда кошки из города переехали!

Я стал звать:

— Кис-кис! Кисанька! — и просунул руку в нору.

А кисанька как заурчит, да таким зверем, что я и руку отдернул.

Ну тебя, какая ты злая!

Я пошел дальше и увидел, что много кроличьих нор раскопано. Это кошки пришли из города, раскопали пошире кроличьи норы, кроликов выгнали и стали жить по-дикому.

IV

Я стал думать, как бы переманить кошку к себе в дом.

Вот раз я встретил кошку на берегу. Большая, серая, мордастая. Она, как увидела меня, отскочила в сторону и села. Злыми глазами на меня глядит. Вся напружинилась, замерла, только хвост вздрагивает. Ждет, что я буду делать.

А я достал из кармана корку хлеба и бросил ей. Кошка глянула, куда корка упала, а сама ни с места. Опять на меня уставилась. Я обошел стороной и оглянулся: кошка прыгнула, схватила корку и побежала к себе домой, в нору.

Так мы с ней часто встречались, но кошка никогда меня к себе не подпускала. Раз в сумерки я ее принял за кролика и хотел уже стрелять.

V

Весной я начал рыбачить, и около моего дома запахло рыбой. Вдруг слышу — лает мой Рябчик. И смешно как-то лает: бестолково, на разные голоса, и подвизгивает. Я вышел и вижу: по весенней траве не торопясь шагает к моему дому большая серая кошка. Я сразу ее узнал. Она нисколько не боялась Рябчика, даже не глядела на него, а выбирала только, где бы ей посуше ступить. Кошка увидела меня, уселась и стала глядеть и облизываться. Я скорее побежал в дом, достал рыбешку и бросил.

Она схватила рыбу и прыгнула в траву. Мне с крыльца было видно, как она стала жадно жрать. Ага, думаю, давно рыбы не ела.

И стала с тех пор кошка ходить ко мне в гости.

Я все ее задабривал и уговаривал, чтобы перешла ко мне жить. А кошка все дичилась и близко к себе не подпускала. Сожрет рыбу и убежит. Как зверь.

Наконец мне удалось ее погладить, и зверь замурлыкал. Рябчик на нее не лаял, а только тянулся на цепи, скулил: ему очень хотелось познакомиться с кошкой. Теперь кошка целыми днями вертелась около дома, но жить в дом не хотела идти.

Один раз она не пошла ночевать к себе в нору, а осталась на ночь у Рябчика в будке. Рябчик совсем сжался в комок, чтобы дать место.

VI

Рябчик так скучал, что рад был кошке.

Раз шел дождь. Я смотрю из окна — лежит Рябка в луже около будки, весь мокрый, а в будку не лезет.

Я вышел и крикнул:

— Рябка! В будку!

Он встал, конфузливо помотал хвостом. Вертит мордой, топчется, а в будку не лезет.

Я подошел и заглянул в будку. Через весь пол важно растянулась кошка. Рябчик не хотел лезть, чтобы не разбудить кошку, и мок под дождем.

Он так любил, когда кошка приходила к нему в гости, что пробовал ее облизывать, как щенка. Кошка топорщилась и встряхивалась.

Я видел, как Рябчик лапами удерживал кошку, когда она, выпавшись, уходила по своим делам.

VII

А дела у ней были вот какие.

Раз слышу — будто ребенок плачет. Я выскочил, гляжу: катит Мурка с обрыва. В зубах у ней что-то болтается. Подбежал, смотрю — в зубах у Мурки крольчонок. Крольчонок дрыгал лапками и кричал, совсем как маленький ребенок. Я отнял его у кошки. Обменял у ней на рыбу. Кролик выходился и потом жил у меня в доме. Другой раз я застал Мурку, когда она уже доедала большого кролика. Рябка на цепи издали облизывался.

Против дома была яма с пол-аршина глубины. Вижу из окна: сидит Мурка в яме, вся в комок сжалась, глаза дикие, а никого кругом нет. Я стал следить.

Вдруг Мурка подскочила — я мигнуть не успел, а она уже рвет ласточку. Дело было к дождю, и ласточки реяли у самой земли. А в яме в засаде поджидала кошка. Часами сидела она вся на взводе, как курок: ждала, пока ласточка чиркнет над самой ямой. Хап! — и цапнет лапой на лету.

Другой раз я застал ее на море. Бурей выбросило на берег ракушки. Мурка осторожно ходила по мокрым камням и выгребала лапой ракушки на сухое место. Она их разгрызала, как орехи, морщилась и выедала слизняка.

VIII

Но вот пришла беда. На берегу появились беспризорные собаки. Они целой стайей носились по берегу, голодные, озверелые. С лаем, с визгом они пронеслись

мимо нашего дома. Рябчик весь оцетинился, на-
прягся. Он глуховорчал и зло смотрел. Володька схва-
тил палку, а я бросился в дом за ружьем. Но собаки
пронеслись мимо, и скоро их не стало слышно.

Рябчик долго не мог успокоиться: все ворчал и
глядел, куда убежали собаки. А Мурка хоть бы что:
она сидела на солнышке и важно мыла мордочку.

Я сказал Володе:

— Смотри, Мурка-то ничего не боится. Прибегут
собаки — она прыг на столб и по столбу на крышу.

Володя говорит:

— А Рябчик в будку залезет и через дырку отгры-
зется от всякой собаки. А я в дом запрусь. Нечего
бояться.

Я ушел в город.

IX

А когда вернулся, то Володька рассказал мне:

— Как ты ушел, часу не прошло, вернулись дикие
собаки. Штук восемь. Бросились на Мурку. А Мурка
не стала убегать. У ней под стеной, в углу, ты знаешь,
кладовая. Она туда зарывает объедки. У ней уж мно-
го там накоплено. Мурка бросилась в угол, зашипела,
привстала на задние ноги и приготовила когти. Собаки
сунулись, трое сразу. Мурка так заработала лапами —
шерсть только от собак полетела. А они визжат, воют
и уж одна через другую лезут, сверху карабкаются
все к Мурке, к Мурке!

— А ты чего смотрел?

— Да я не смотрел. Я скорее в дом, схватил ружье
и стал молотить изо всей силы по собакам прикладом,
прикладом. Все в кашу замешалось. Я думал, от Мур-
ки клочья одни останутся. Я уж тут бил по чем попа-
ло. Вот, смотри, весь приклад поколотил. Ругать не
будешь?

— Ну, а Мурка-то, Мурка?

— А она сейчас у Рябки. Рябка ее зализывает.
Они в будке.

Так и оказалось. Рябка свернулся кольцом, а в се-
редине лежала Мурка. Рябка ее лизал и сердито по-
глядел на меня. Видно, боялся, что я помешаю — уне-
су Мурку.

Х

Через неделю Мурка совсем оправилась и принялась за охоту.

Вдруг ночью мы проснулись от страшного лая и визга.

Володька выскочил, кричит:

— Собаки, собаки!

Я схватил ружье и, как был, выскочил на крыльцо.

Целая куча собак возилась в углу. Они так ревели, что не слышали, как я вышел.

Я выстрелил в воздух. Вся стая рванулась и без памяти кинулась прочь. Я выстрелил еще раз вдогонку. Рябка рвался на цепи, дергался с разбега, бесился, но не мог порвать цепи: ему хотелось броситься вслед собакам.

Я стал звать Мурку. Она урчала и приводила в порядок кладовую: закапывала лапкой разрытую ямку.

В комнате при свете я осмотрел кошку. Ее сильно покусали собаки, но раны были неопасные.

ХІ

Я заметил, что Мурка потолстела,— у ней скоро должны были родиться котята.

Я попробовал оставить ее на ночь в хате, но она мяукала и царапалась, так что пришлось ее выпустить.

Беспризорная кошка привыкла жить на воле и ни за что не хотела идти в дом.

Оставлять так кошку было нельзя. Видно, дикие собаки повадились к нам бегать. Прибегут, когда мы с Володей будем в море, и загрызут Мурку совсем. И вот мы решили увезти Мурку подальше и оставить жить у знакомых рыбаков. Мы посадили с собой в лодку кошку и поехали морем.

Далеко, за пятьдесят верст от нас, увезли мы Мурку. Туда собаки не забегают. Там жило много рыбаков. У них был невод. Они каждое утро и каждый вечер завозили невод в море и вытягивали его на берег. Рыбы у них всегда было много. Они очень обрадовались, когда мы им привезли Мурку. Сейчас же накормили ее рыбой до отвала. Я сказал, что кошка в дом жить

не пойдет и что надо для нее сделать нору,— это не простая кошка, она из беспризорных и любит волю. Ей сделали из камыша домик, и Мурка осталась стеречь невод от мышей.

А мы вернулись домой. Рябка долго выл и плаксиво лаял; лаял и на нас: куда мы дели кошку?

Мы долго не были на неводе и только осенью собрались к Мурке.

XII

Мы приехали утром, когда вытягивали невод. Море было совсем спокойное, как вода в блюде. Невод уж подходил к концу, и на берег вытащили вместе с рыбой целую ватагу морских раков — крабов. Они, как крупные пауки, ловкие, быстро бегают и злые. Они становятся на дыбы и щелкают над головой клешнями: пугают. А если ухватят за палец, так держись: до крови. Вдруг я смотрю: среди всей этой кутерьмы спокойно идет наша Мурка. Она ловко откидывала крабов с дороги. Подцепит его лапой сзади, где он достать ее не может, и швырк прочь. Краб встает на дыбы, пыжится, лязгает клешнями, как собака зубами, а Мурка и внимания не обращает, отшвырнет, как камешек.

Четыре взрослых котенка следили за ней издали, но сами боялись и близко подойти к неводу. А Мурка залезла в воду, вошла по шею, только голова одна из воды торчит. Идет по дну ногами, а от головы вода расступается.

Кошка лапами нащупывала на дне мелкую рыбешку, что уходила из невода. Эти рыбки прячутся на дно, закапываются в песок — вот тут-то их и ловила Мурка. Нащупает лапкой, подцепит когтями и бросает на берег своим детям. А они уж совсем большие коты были, а боялись и ступить на мокрое. Мурка им приносила на сухой песок живую рыбу, и тогда они жрали и зло урчали. Подумаешь, какие охотники!

XIII

Рыбаки не могли нахвалиться Муркой:

— Ай да кошка! Боевая кошка! Ну, а дети не в мать пошли. Балбесы и лодыри. Рассядутся, как гос-

пода, и все им в рот подай. Вон, гляди, расселись как! Чисто свиньи. Ишь развалились. Брысь, поганцы!

Рыбак замахнулся, а коты и не шевельнулись.

— Вот только из-за мамыши и терпим. Выгнать бы их надо.

Коты так обленились, что им лень было играть с мышью.

XIV

Я раз видел, как Мурка притащила им в зубах мышь. Она хотела их учить, как ловить мышей. Но коты лениво перебирали лапами и упускали мышь. Мурка бросалась вдогонку и снова приносила им. Но они и смотреть не хотели: валялись на солнышке по мягкому песку и ждали обеда, чтоб без хлопот наестся рыбьих головок.

— Ишь, мамышины сынки! — сказал Володька и бросил в них песком. — Смотреть противно. Вот вам!

Коты тряхнули ушами и перевалились на другой бок.

Лодыри!

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
ПРИШВИН
1873—1954

ГОВОРЯЩИЙ ГРАЧ

Расскажу случай, какой был со мной в голодном году. Повадился ко мне на подоконник летать желторотый молодой грачонок. Видно, сирота был. А у меня в то время хранился целый мешок гречневой крупы,— я и питался все время гречневой кашей. Вот, бывало, прилетит грачонок, я посыплю ему крупы и спрашиваю:

— Кашки хочешь, дурашка?

Поклюет и улетит. И так каждый день, весь месяц. Хочу я добиться, чтобы на вопрос мой: «Кашки хочешь, дурашка?» — он сказал бы: «Хочу».

А он только желтый нос откроет и красный язык показывает.

— Ну ладно,— рассердился я и забросил ученье.

К осени случилась со мной беда: полез я за крупой в сундук, а там нет ничего. Вот как воры обчистили,— половина огурца была на тарелке, и ту унесли! Лег я спать голодный. Всю ночь вертелся. Утром в зеркало посмотрел — лицо все зеленое стало.

Стук, стук! — кто-то в окошко.

На подоконнике грач долбит в стекло.

«Вот и мясо!» — явилась у меня мысль.

Открываю окно — и хватаю его! А он — прыг от меня на дерево. Я — в окно за ним, к сучку. Он повыше. Я лезу. Он выше — и на самую макушку. Я туда не могу — очень качается. Он же, шельмец, смотрит на меня сверху и говорит:

— Хо-чешь каш-ки, ду-ра-шка?

ЖУРКА

Раз было у нас — поймали мы молодого журавля и дали ему лягушку. Он ее проглотил. Дали другую — проглотил. Третью, четвертую, пятую, а больше тогда лягушек у нас под рукой не было.

— Умница! — сказала моя жена и спросила меня: — А сколько он может съесть их? Десять может?

— Десять, — говорю, — может.

— А ежели двадцать?

— Двадцать, — говорю, — едва ли...

Подрезали мы этому журавлю крылья, и стал он за женой всюду ходить. Она корову доить — Журка с ней, она в огород — и Журке там надо, и тоже на полевые колхозные работы ходит с ней, и за водой. Привыкла к нему жена, как к своему собственному ребенку, и без него ей уж скучно, без него никуда. Но только ежели случится — нет его, крикнет только одно: «Фру-фру!», и он к ней бежит. Такой умница!

Так и живет у нас журавль, а подрезанные крылья его все растут и растут.

Раз пошла жена за водой вниз, к болоту, и Журка за ней. Лягушонок небольшой сидел у колодца и прыг от Журки в болото. Журка за ним, а вода глубокая, и с берега до лягушонка не дотянешься. Мах-мах крыльями Журка и вдруг полетел. Жена ахнула — и за ним. Мах-мах руками, а подняться не может. И в слезы, и к нам: «Ах, ах, горе какое! Ах, ах!» Мы все прибежали к колодцу. Видим — Журка далеко, на середине нашего болота сидит.

— Фру-фру! — кричу я.

И все ребята за мной тоже кричат:

— Фру-фру!

И такой умница! Как только услышал он это наше «фру-фру», сейчас мах-мах крыльями и прилетел. Тут уж жена себя не помнит от радости, велит ребятам бежать скорее за лягушками. В этот год лягушек было множество, ребята скоро набрали два картуза. Принесли ребята лягушек, стали давать и считать. Дали пять — проглотил, дали десять — проглотил, двадцать и тридцать, — да так вот и проглотил за один раз сорок три лягушки.

«ИЗОБРЕТАТЕЛЬ»

В одном болоте на кочке под ивой вывелись дикие кряковые утята. Вскоре после этого мать повела их к озеру по коровьей тропе. Я заметил их издали, спрятался за дерево, и утята подошли к самым моим ногам. Трех из них я взял себе на воспитание, остальные шестнадцать пошли себе дальше по коровьей тропе.

Подержал я у себя этих черных утят, и стали они вскоре все серыми. После из серых один вышел красавец разноцветный селезень и две уточки, Дуся и Муся. Мы им крылья подрезали, чтобы не улетели, и жили они у нас во дворе вместе с домашними птицами: куры были у нас и гуси.

С наступлением новой весны устроили мы своим дикарям из всякого хлама в подвале кочки, как на болоте, и на них гнезда. Дуся положила себе в гнездо шестнадцать яиц и стала высиживать утят. Муся положила четырнадцать, но сидеть на них не захотела. Как мы ни бились, пустая голова не захотела быть матерью. И мы посадили на утиные яйца нашу важную черную курицу — Пиковую Даму.

Пришло время, вывелись наши утята. Мы их некоторое время подержали на кухне, в тепле, крошили им яйца, ухаживали. Через несколько дней наступила очень хорошая, теплая погода, и Дуся повела своих черненьких к пруду, и Пиковая Дама своих — в огород за червями.

— Свись-свись! — утята в пруду

— Кряк-кряк! — отвечает им утка.

— Свись-свись! — утята в огороде.

— Квох-квох! — отвечает им курица.

Утята, конечно, не могут понять, что значит «квох-квох», а что слышится с пруда, это им хорошо известно.

«Свись-свись» — это значит: «свои к своим».

А «кряк-кряк» — значит: «вы — утки, вы — кряквы, скорей плывите».

И они, конечно, глядят туда, к пруду.

— Свои к своим!

И бегут.

— Плывите, плывите!

И плывут.

— Квох-квох! — упирается важная курица на берегу.

Они все плывут и плывут. Сосвистались, сплылись, радостно приняла их в свою семью Дуся; по Мусе они были ей родные племянники.

Весь день большая сборная утиная семья плавала на прудике, и весь день Пиковая Дама, распушенная, сердитая, квохтала, ворчала, копала ногой червей на берегу, старалась привлечь червями утят и квохтала им о том, что уж очень-то много червей, таких хороших червей!

— Дрянь-дрянь! — отвечала ей кряква.

А вечером она всех своих утят провела одной длинной веревочкой по сухой тропинке. Под самым носом важной птицы прошли они, черненькие, с большими утиными носами; ни один даже на такую мать и не поглядел. Мы всех их собрали в одну высокую корзинку и оставили ночевать в теплой кухне, возле плиты.

Утром, когда мы еще спали, Дуся вылезла из корзины, ходила вокруг по полу, кричала, вызывала к себе утят. В тридцать голосов ей на крик отвечали свистуны.

На утиный крик стены нашего дома, сделанного из звонкого соснового леса, отзывались по-своему. И все-таки в этой кутерьме мы расслышали отдельно голос одного утенка.

— Слышите? — спросил я своих ребят.

Они прислушались.

— Слышим! — закричали.

И пошли в кухню.

Там, оказалось, Дуся была не одна на полу. С ней рядом бегал один утенок, очень беспокоился и непрерывно свистел. Этот утенок, как и все другие, был рослом с небольшой огурец. Как же мог такой-то воин перелезть стену корзинки высотой сантиметров в тридцать?

Стали мы об этом догадываться, и тут явился новый вопрос: сам утенок придумал себе какой-нибудь способ выбраться из корзины вслед за матерью или же она случайно задела его как-нибудь своим крылом и выбросила? Я перевязал ножку этого утенка ленточкой и пустил в общее стадо.

Переспали мы ночь, и утром, как только раздался в доме утиный утренний крик, — мы — в кухню. На

полу вместе с Дусей бегал утенок с перевязанной лапкой.

Все утята, заключенные в корзине, свистели, рвались на волю и не могли ничего сделать. Этот выбрался. Я сказал:

— Он что-то придумал.

— Он изобретатель! — крикнул Лева.

Тогда я задумал посмотреть, каким же способом этот «изобретатель» решает труднейшую задачу: на своих утиных перепончатых лапках подняться по отвесной стене. Я встал на следующее утро до свету, когда и ребята мои и утята спали непробудным сном. В кухне я сел возле выключателя, чтобы сразу, когда надо будет, дать свет и рассмотреть события в глубине корзины. И вот побелело окно. Стало светать.

— Кряк-кряк! — проговорила Дуся.

— Свись-свись! — ответил единственный утенок.

И все замерло. Спали ребята, спали утята.

Раздался гудок на фабрике. Свету прибавилось.

— Кряк-кряк! — повторила Дуся.

Никто не ответил. Я понял: «изобретателю» сейчас некогда — и сейчас, наверно, он и решает свою труднейшую задачу. И я включил свет.

Ну, так вот я и знал! Утка еще не встала, и голова ее еще была вровень с краем корзины. Все утята спали в тепле под матерью, только один с перевязанной лапкой вылез и по перьям матери, как по кирпичикам, взбирался вверх, к ней на спину. Когда Дуся встала, она подняла его высоко, на уровень с краем корзины. По ее спине утенок, как мышь, пробежал до края — и кувырк вниз! Вслед за ним мать тоже вывалилась на пол, и началась обычная утренняя кутерьма: крик, свист на весь дом.

Дня через два после этого утром на полу появилось сразу три утенка, потом пять, и пошло и пошло: чуть только крякнет утром Дуся, все утята к ней на спину и потом валяются вниз.

А первого утенка, проложившего путь для других, мои дети так и прозвали Изобретателем.

РЕБЯТА И УТЯТА

Маленькая дикая уточка — чирок-свистунок — решилась, наконец-то, перевести своих утят из леса, в обход деревни, в озеро на свободу. Весной это озеро далеко разливалось, и прочное место для гнезда можно было найти только версты за три, на кочке в болотистом лесу. А когда вода спала, пришлось все три версты путешествовать к озеру.

В местах, открытых для глаз человека, лисицы и ястреба, мать шла позади, чтобы не выпускать утят ни на минуту из виду. И около кузницы, при переходе через дорогу, она, конечно, пустила их вперед. Вот тут их увидели ребята и зашвыряли шапками. Все время, пока они ловили утят, мать бегала за ними с раскрытым клювом или перелетывала в разные стороны на несколько шагов в величайшем волнении. Ребята только было собрались закидать шапками мать и поймать ее, как утят, но тут я подошел.

— Что вы будете делать с утятами? — строго спросил я ребят.

Они трусили и ответили:

— Пустим.

— Вот то-то «пустим»! — сказал я очень сердито. — Зачем вам надо было их ловить? Где теперь мать?

— А вон сидит! — хором ответили ребята.

И указали мне на близкий холмик парового поля, где уточка действительно сидела с раскрытым от волнения ртом.

— Живо, — приказал я ребятам, — идите и возвращайте ей всех утят!

Они как будто даже и обрадовались моему приказанию и побежали с утятами на холм. Мать отлетела немного и, когда ребята ушли, бросилась спасать своих сыновей и дочерей. По-своему она им что-то быстро сказала и побежала к овсяному полю. За ней побежали утята — пять штук. И так по овсяному полю, в обход деревни, семья продолжала свое путешествие к озеру.

Радостно снял я шляпу и, помахав ею, крикнул:

— Счастливый путь, утята!

Ребята надо мной засмеялись.

— Что вы смеетесь, глупыши! — сказал я ребя-

там.— Думаете, так-то легко попасть утятам в озеро? Снимайте живо все шапки, кричите «до свиданья»!

И те же самые шапки, запыленные на дороге при ловле утят, поднялись в воздух; все разом закричали ребята:

— До свиданья, утята!

МЕДВЕДЬ

Многие думают, будто пойти только в лес, где много медведей, и так они вот и набросятся, и съедят тебя, и останутся от козлика ножки да рожки. Такая это неправда!

Медведи, как и всякий зверь, ходят по лесу с великой осторожностью и, зачуйв человека, так удирают от него, что не только всего зверя, а не увидишь даже и мелькнувшего хвостика.

Однажды на севере мне указали место, где много медведей. Это место было в верховьях реки Коды, впадающей в Пинегу. Убивать медведя мне вовсе не хотелось, и охотиться за ним было не время: охотятся зимой, я же пришел на Коду ранней весной, когда медведи уже вышли из берлог.

Мне очень хотелось застать медведя за едой, где-нибудь на полянке, или на рыбной ловле на берегу реки, или на отдыхе. Имея на всякий случай оружие, я старался ходить по лесу так же осторожно, как звери, затаивался возле теплых следов; не раз мне казалось, будто мне даже и пахло медведем... Но самого медведя, сколько я ни ходил, встретить мне в тот раз так и не удалось.

Случилось, наконец, терпение мое кончилось, и время пришло мне уезжать. Я направился к тому месту, где была у меня спрятана лодка и продовольствие. Вдруг вижу: большая еловая лапка передо мной дрогнула и закачалась сама.

«Зверушка какая-нибудь»,— подумал я.

Забрав свои мешки, сел я в лодку и поплыл.

А как раз против места, где я сел в лодку, на том берегу, очень крутом и высоком, в маленькой избушке жил один промысловый охотник. Через какой-нибудь час или два этот охотник поехал на своей лодке

вниз по Коде, нагнал меня и застал в той избушке на полпути, где все останавливаются.

Он-то вот и рассказал мне, что со своего берега видел медведя, как он вымахнул из тайги как раз против того места, откуда я вышел к своей лодке. Тут-то вот я и вспомнил, как при полном безветрии закачались впереди меня еловые лапки.

Досадно мне стало на себя, что я подшумел медведя. Но охотник мне еще рассказал, что медведь не только ускользнул от моего глаза, но еще и надо мной посмеялся... Он, оказывается, очень недалеко от меня отбежал, спрятался за выворотень и оттуда, стоя на задних лапах, наблюдал меня: и как я вышел из леса, и как садился в лодку и поплыл. А после, когда я для него закрылся, влез на дерево и долго следил за мной, как я спускаюсь по Коде.

— Так долго,— сказал охотник,— что мне надоело смотреть и я ушел чай пить в избушку.

Досадно мне было, что медведь надо мной посмеялся. Но еще досадней бывает, когда болтуны разные пугают детей лесными зверями и так представляют их, что покажись будто бы только в лес без оружия — и они оставят от тебя только рожки да ножки.

ЕЖ

Раз шел я по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа. Он тоже заметил меня, свернулся и затупал: тук-тук-тук. Очень похоже было, как если бы вдали шел автомобиль. Я прикоснулся к нему кончиком сапога — он страшно фыркнул и поддал своими иголками в сапог.

— А, ты так со мной! — сказал я и кончиком сапога спихнул его в ручей.

Мгновенно еж развернулся в воде и поплыл к берегу, как маленькая свинья, только вместо щетины на спине были иголки. Я взял палочку, скатил ею ежа в свою шляпу и понес домой.

Мышей у меня было много. Я слышал — ежик их ловит, и решил: пусть он живет у меня и ловит мышей.

Так положил я этот колючий комок посреди пола и сел писать, а сам уголком глаза все смотрю на ежа. Недолго он лежал неподвижно: как только я затих у стола, ежик развернулся, огляделся, туда попробовал идти, сюда, выбрал себе наконец место под кроватью и там совершенно затих.

Когда стемнело, я зажег лампу,— и здравствуйте! — ежик выбежал из-под кровати. Он, конечно, подумал на лампу, что это луна взошла в лесу: при луне ежи любят бегать по лесным полянкам. И так он пустился бегать по комнате, представляя, что это лесная полянка.

Я взял трубку, закурил и пустил возле луны облачко. Стало совсем как в лесу: и луна и облако, а ноги мои были как стволы деревьев и, наверно, очень нравились ежику: он так и шнырял между ними, понюхивая и почесывая иголками задник у моих сапог.

Прочитав газету, я уронил ее на пол, перешел на кровать и уснул.

Сплю я всегда очень чутко. Слышу — какой-то шелест у меня в комнате. Чиркнул спичкой, зажег свечку и только заметил, как еж мелькнул под кровать. А газета лежала уже не возле стола, а посредине комнаты. Так я и оставил гореть свечу и сам не сплю, раздумывая: «Зачем это ежику газета понадобилась?» Скоро мой жилец выбежал из-под кровати — и прямо к газете; завертелся возле нее, шумел, шумел и наконец ухитрился: надел себе как-то на колючки уголок газеты и потащил ее, огромную, в угол.

Тут я и понял его: газета ему была, как в лесу сухая листва, он тащил ее на себе для гнезда. И оказалось, правда: в скором времени еж весь обернулся газетой и сделал себе из нее настоящее гнездо. Кончив это важное дело, он вышел из своего жилища и остановился против кровати, разглядывая свечу — луну.

Я подпустил облака и спрашиваю:

— Что тебе еще надо?

Ежик не испугался.

— Пить хочешь?

Я встал. Ежик не бежит.

Взял я тарелку, поставил на пол, принес ведро с водой, и то налью воды в тарелку, то опять вылью в



ведро, и так шумлю, будто это ручеек поплескивает.

— Ну, иди, иди...— говорю.— Видишь, я для тебя и луну устроил, и облака пустил, и вот тебе вода...

Смотрю: будто двинулся вперед. А я тоже немного подвинул к нему свое озеро. Он двинется — и я двину, да так и сошлись.

— Пей,— говорю окончательно.

Он и залакал. А я так легонько по колючкам рукой провел, будто погладил, и все приговариваю:

— Хороший ты малый, хороший!

Напился еж, я говорю:

— Давай спать.

Лег и задул свечу. Вот не знаю, сколько я спал, слышу: опять у меня в комнате работа.

Зажигаю свечу — и что же вы думаете? Ежик бежит по комнате, и на колючках у него яблоко. Прибежал в гнездо, сложил его там и за другим бежит в угол, а в углу стоял мешок с яблоками и завалился. Вот еж подбежал, свернулся около яблок, дернулся и опять бежит — на колючках другое яблоко тащит в гнездо.

Так вот и устроился у меня жить ежик. А сейчас я, как чай пить, непременно его к себе на стол и то молока ему налью в блюдечко — выпьет, то булочки дам — съест.

ГАЕЧКИ

Мне попала соринка в глаз. Пока я ее вынимал, в другой глаз еще попала соринка.

Тогда я заметил, что ветер несет на меня опилки и они тут же ложатся дорожкой в направлении ветра. Значит, в той стороне, откуда был ветер, кто-то работал над сухим деревом.

Я пошел на ветер по этой белой дорожке опилок и скоро увидел, что это две самые маленькие синицы, гайки — сизые, с черными полосками на белых пухленьких щечках,— работали носами по сухому дереву и добывали себе насекомых в гнилой древесине. Работа шла так бойко, что птички на моих глазах все глубже и глубже уходили в дерево. Я терпеливо смотрел на них в бинокль, пока наконец от одной га-

ечки на виду остался лишь хвостик. Тогда я тихонечко зашел с другой стороны, подкрался и то место, где торчит хвостик, покрыл ладонью. Птичка в дупле не сделала ни одного движения и сразу как будто умерла. Я принял ладонь, потрогал пальцем хвостик — лежит, не шевелится; погладил пальцем вдоль спинки — лежит, как убитая. А другая гаечка сидела на ветке в двух-трех шагах и попискивала. Можно было догадаться, что она убеждала подругу лежать как можно смирнее. «Ты,— говорила она,— лежи и молчи, а я буду около него пищать; он погонится за мной, я полечу, и ты тогда не зевай».

Я не стал мучить птичку, отошел в сторону и наблюдал, что будет дальше. Мне пришлось стоять довольно долго, потому что свободная гайка видела меня и предупреждала пленную:

— Лучше полежи немного, а то он тут, недалеко, стоит и смотрит...

Так я очень долго стоял, пока наконец свободная гайка не пропищала совсем особенным голосом, как я догадываюсь:

— Вылезай, ничего не поделаешь: стоит.

Хвост исчез. Показалась головка с черной полоской на щеке. Пискнула:

— Как же он?

— Вон стоит,— пискнула другая.— Видишь?

— А, вижу! — пискнула пленница.

И выпорхнула. Они отлетели всего несколько шагов и, наверно, успели шепнуть друг другу:

— Давай посмотрим, может быть, он и ушел.

— Стоит,— сказала одна.

— Стоит,— сказала другая.

И улетели.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
ГОЛОВИН
р. 1924

ЗЮБРИК

Снаряд срезал вершину сосны и тяжело грохнул в кустах буйно цветущей черемухи, взметнув вместе с фонтаном еще не просохшей от весенних дождей земли жухлую прошлогоднюю листву, прелую хвою и целое облако белых душистых лепестков.

Сладковатая гарь взрывчатки запершила в горле. Смолк птичий гомон.

На миг в прифронтowej роще наступило настороженное безмолвие. Даже шмель, деловито возившийся на желтом одуванчике, будто присмирел. В тишине раннего вечера слышно было лишь, как с обезглавленной сосны, чуть шурша в воздухе, слетает тоненькая, почти невесомая, кора, словно кусочки золотистой кожи.

Тишину вспорол крупнокалиберный пулемет, ударивший где-то далеко на левом фланге.

И, словно по сигналу, снова грянул птичий хор. Засвистел, защелкал соловей: «Сидор, Сидор! Сало варил, крутил, вертел! Пёк, пёк, пёк — сырое глыты!» — выговаривала голосистая птаха, неведомо откуда прилетевшая на передний край.

Шмель тяжело поднялся с цветка, боком-боком полетел куда-то по своим шмелиным делам.

Тревожно мы ждали второго снаряда. Мы — это молодые солдаты из роты связи. Старшему из нас было двадцать, младшему недавно исполнилось восемнадцать. Но снаряд, напугавший нас, видно, был шальным.

Всякий раз, когда обстрел заставлял нас врасплох,

без какого-нибудь укрытия поблизости, каждый старался не показать виду, что ему страшно. То ли мальчишеская удаль, то ли еще какое чувство, испокон веков присущее российскому солдату, властно диктовало в минуту опасности: «Пусть поджилки трясутся, пусть небо с овчинку кажется, а сердце уходит в пятки — не подавай виду. Возьми страх за глотку». И мы старались, как могли, побороть собственный страх.

Все завидовали Исмаилу Кужбаеву. Он умел «дремать» во время огневого налета. Вот и сейчас что-то подозрительно быстро его стало клонить ко сну. Исмаил сел на корточки, прислонился спиной к шершавой липкой коре елки, уперся рябым подбородком в колени и сделал вид, что дремлет. Отчаянный Вася Ставров, несмотря на свои восемнадцать лет, стреляный и перестрелянный, с невозмутимым видом лежал на животе с травинкой в щербатых зубах. Николай Жернов, самый старший и рассудительный в отделении, пытался слепить сигарку. Это почему-то ему никак не удавалось. Махорка то и дело просыпалась на предусмотрительно подставленный подол гимнастерки. Николай тщательно, по крупинке, собирал ее и снова принимался за сигарку.

Не сиделось спокойно нашему ездовому Андрею Каргополову. Он вынул из кармана сухарь, вытер его о засаленные шаровары и принялся сосредоточенно жевать, то и дело вытягивая тонкую, со шрамом от ожога шею, на которой не очень аккуратно выточенным шаром торчала стриженная голова.

Ездовой беспокоился — не попал ли осколок в его любимца, маленького белого коня Зюбрика.

Зюбрик был гордостью отделения. Слава о нем гремела по всему полку. Как попала на фронт эта цирковая лошадка — неизвестно. Нам привел ее, взамен убитого накануне работающего одноглазого мери-на, старшина роты Валов, известный в полку франт и щеголь, ходивший всегда в бог знает чем отутюженной пилотке с красными кантами. Особенно он гордился легкими сапожками, сшитыми из плащ-палатки за пару банок консервов фронтовым умельцем.

— Вот вам конь по кличке Зюбрик, настоящий «араб», — похлопав лошадку по спине, с видом знатока заявил старшина. — Берегите его. Он, говорят,

ученый, из цирка, не убережете — другого не дам. У меня резервов нет.

«Араб» ни у кого из нас не вызвал особого восторга. Против широкогрудого Косого он казался совсем маленьким и невзрачным.

— Как этот «араб» катушки возить станет? — сокрушался Андрей Каргополов. — Ведь на них чуть ли не пятнадцать километров кабеля намотано, да еще телефонные аппараты, да...

Тут наш ездовой начал загибать пальцы, пересчитывая, что у него нагружено на бричке. Выходило, как ни крути, а одной лошадиной силы, да еще такой маленькой, явно недостаточно. Но Зюбрик, против всех наших ожиданий, оказался жилистой лошадкой. Любо было смотреть, когда он, по-лебяжьей выгибая шею, высоко поднимая ноги, казалось, без особого напряжения тянул нашу донельзя перегруженную повозку.

Правда, вначале лошадке работать приходилось мало. Полк стоял в обороне, и, как всегда в таких случаях, катушки с кабелем «ездили» на наших спинах. Пока отделение хлопотало, налаживая телефонную связь то с наблюдательными пунктами, то с саперами, или натягивало нити кабеля между штабными землянками, Зюбрик с ездовым находились в надежном укрытии. Андрей занимался стряпней, конь, если не грозил обстрел, тут же пасся неподалеку или смирно стоял в отрытом для него окопе. Мы, помня слова старшины, берегли лошадь, благоразумно рассудив, что на маршах возить катушки в повозке все же лучше, чем мозолить ими собственные плечи.

В обороне, или, как метко заметил Каргополов, «на курорте», Зюбрик быстро «набрал тело».

Однажды разведчики ходили в ночной поиск. Васька Ставров выпросил у командира разрешение пойти вместе с ними.

— Почему не щипнуть фрицев лишний разок, — красуясь перед нами в пятнистом, как леопардовая шкура, маскировочном халате, разглагольствовал Васька.

Но мы-то хорошо знали его слабость. Не одна жажда подвига обуяла парня. Васька был неисправимый трофейщик и, конечно, не хотел упустить

удобный момент обзавестись диковинным кинжалом, полевой сумкой или, на худой конец, зажигалкой.

Поиск удался. Разведчики взяли двух «языков», заодно прихватив все, что попало под руку во вражеском блиндаже, куда им удалось внезапно ворваться. Среди разных вещей оказался небольшой аккордеон. Разведчики уступили его Ваське в знак дружбы со связистами, а может потому, что никто из них на этом инструменте не умел играть. Ставрову аккордеон вскоре надоел, поскольку ему, как он сам признался, «медведь на ухо наступил». Васька презентовал инструмент ездovому, втайне надеясь, что задобренный подарком хозяин повозки не будет выбрасывать из нее Васькин трофейный хлам.

Когда кругом все было спокойно, линия связи не рвалась и не надо было бежать сломя голову ее исправлять, мы собирались послушать музыку. Андрей Каргополов кое-что играл на слух. От нечего делать мы горланили песни, но особенно любили фронтовые.

Кто сказал, что надо бросить
Песни на войне,—

запевал Андрей. Голоса у него не было никакого, но главное дело не в голосе, а в настроении.

После боя сердце просит
Музыки вдвойне,—

тянул наш музыкант-ездовой. В несколько глоток мы громко подхватывали:

Нынче у нас передышка,
Завтра вернемся к боям.
Что же твой голос не слышно,
Друг наш, походный баян...

Пели «Землянку», «Огонек», «Закури, дорогой, закури». У каждого была своя любимая песня. Но все как-то преображались, когда Андрей тихонько, душевно начинал:

Алена, Алена, дорогая подруга.
До тебя далеко мне, и в год не дойдешь.
Прескверная штука — печаль да разлука,
Но становится легче, когда песню поешь.

Песня звучала мягко, лирично. Старались подпевать и мы. У каждого в мечтах была своя Алена: у кого мать, у кого сестра. Не стану утверждать, что у

таких юнцов, как мы, были невесты, но уверен — в этот момент каждый рисовал в воображении любимый образ на свой лад. А песня летела:

Я знаю, Алена, ты меня не забыла,
У знакомой калитки по-прежнему ждешь.
Пылают пожары в степи нелюдимой,
Но становится легче, когда песню поешь...

...Как-то Андрей сыграл вальс «В лесу прифронтовом», а потом сразу перешел на веселый марш. То, что произошло дальше, всех нас очень удивило. Зюбрик, спокойно щипавший траву, резко поднял сухую, аккуратную головку, розовые ноздри лошади стали раздуваться, уши нервно задвигались. Искоса поглядывая на коня, Андрей продолжал играть. Зюбрик высоко поднял переднюю ногу, сделал шаг, другой, тряхнул головой и вдруг побежал по кругу. Музыка его словно подхлестывала. Обежав круга три, остановился, потоптался на месте, словно что-то вспомнил, потом стал кружиться то в правую, то в левую сторону.

Мы сидели с открытыми ртами и, не дыша, глядели на все эти поразительные штуки. Андрей заиграл громче, Зюбрик вдруг взвился на дыбы, постоял свечой несколько секунд, потом опустил на все четыре ноги, подогнул колени и отвесил нам поклон. Музыка смолкла. Лошадь отряхнулась и как ни в чем не бывало принялась за траву.

— Скажи на милость, вспомнил! — хлопал себя по бедрам Васька Ставров. — Вот умница. Не соврал старшина, конишко-то и впрямь из цирка.

Исмаил Кужбаев порылся в полевой сумке, достал кусочек сахара, тщательно завернутый в бумагу, развернул, дунул на него и пошел к коню. На его рябоватом лице расплылась довольная улыбка. Такую его улыбку мы видели только раз — когда сам командир дивизии вручал ему медаль «За отвагу».

С тех пор и началось. Втайне от нас Андрей стал готовить, как он проговорился, «концерт». Что за концерт, мы не знали и сгорали от любопытства. Но Андрей проводил «репетиции» с Зюбриком в то время, когда мы были на исправлении линии либо дежурили на телефонной станции. На все расспросы ездовой отмахивался:

— Чего пристали? Скоро узнаете,

Наконец день «премьеры» настал. Андрей сам объявил нам об этом. Накануне он ездил в расположение роты и пригласил на представление всех своих дружков-ездовых. Эта компания не заставила просить себя дважды. Благо на фронте было тихо, не слышалось даже пулеметных очередей.

Зрители расположились на полянке, курили, смеялись, обменивались солеными солдатскими шутками.

О, благодатные часы фронтового затишья! О чем только не услышишь, чего не насмотришься за это время! Вон под кустом ольхи сидит пожилой солдат. Его окружила стайка молодежи. По жестам рассказчика нетрудно догадаться — идут охотничьи воспоминания.

— Шагаю это я по городу с зайцем за плечами. Народ на меня глаза так и пялит, завидует. А мне лестно. Дай, думаю, пройду мимо дома да опять заверну на главную улицу. Знай, мол, наших...

В другом конце полянки коренастый парень рассуждает:

«Почему, думаете, сибиряки приземистые да широкоплечие? Полагаю, климат виноват. Напялят на тебя с детства овчинный полушубок, и гнет он тебя, сердечного, подняться кверху не дает. Делать нечего, приходится вширь раздаваться...»

Но вот заиграла музыка. С аккордеоном в руках Андрей вышел из-за брезента, натянутого между двух березок. На нем был клоунский костюм, сшитый из мешков и немецкого маскхалата. Небольшой хлыстик торчал из-за кумачового пояса. Важной походкой из-за кулис вышел Зюбрик. И тут сразу поднялся хохот. На голове лошади была приложена привязанная полотенцем и кусками телефонного кабеля немецкая каска. На шее болталась гитлеровская награда — железный крест. А передние ноги были «обуты» в здоровенные фрицевские сапоги с гвоздями на подошве. Зюбрик остановился посреди поляны и по сигналу хозяина поклонился «публике».

— А ну-ка, Зюбрик, покажи-ка, как немцы изпод Москвы драпали! — распорядился Андрей. И заиграл веселый марш.

Зюбрик задрал хвост, заржал и понесся по кругу, смешно подкидывая задом. Дружные аплодисменты

подбадривали лошадку. С его ноги вдруг соскочил сапог и полетел в «публику». Это вызвало новый взрыв смеха.

— Гляди-ка, и впрямь фриц. Ай да Зюбрик! Вот молодец, вот удружил!

— А еще что он может? — выкрикивали со всех сторон.

Зюбрик добросовестно исполнил трюки, которым его обучил хозяин. Напоследок, когда Андрей попросил его показать, «как Гитлер подыхать будет», лошадь улеглась на бок, потом перевернулась на спину, засучила в воздухе ногами и замерла.

На веселый шум подходили солдаты из соседних подразделений, из комендантской роты. Поглядеть на представление пришли саперы и разведчики. «Программу» пришлось повторять несколько раз. Зюбрик не чувствовал усталости. Казалось, что вся эта суета ему очень нравится. Зато взмолился Андрей:

— Пустите, братцы, дайте отдохнуть.

С каждым днем крепла дружба Зюбрика с ездовым. Мы тоже оказывали всяческое внимание лошади — холили, кормили сухарями, правдами и неправдами доставали у старшины лишнюю порцию овса. Андрей под сиденьем брички возил в немецкой каске пушечное сало, часто смазывал коню копыта, чтобы не трескались, и вообще проявлял о нем нежную заботу. В походах, если случалось, подвода с катушками застревала в грязи, мы разматывали с ног обмотки, привязывали их к оглоблям и дружно тянули. Парни мы были здоровенные, бричка, как пробка, вылетала из любой топи.

Наша любовь к маленькой цирковой лошадке еще больше возросла после одного случая, жертвой которого чуть не стал наш ездовой.

В те дни началось большое наступление. Натиск наших войск был настолько мощным, что мы, связисты, еле-еле успевали за пехотой. В день порой приходилось разматывать и вновь сматывать до пятнадцати километров кабеля. Конечно, все мы уставали до невозможности.

Никогда не забыть августовскую ночь — светлую, теплую, душную. Весь горизонт на западе был в огне. Пылали ближние и дальние деревни. Над нами



висели бомбардировщики, сбрасывая зажигательные бомбы на поля созревающих хлебов. Одна зажигалка угодила в сарай, где, вконец измученный, крепко спал Андрей. Подле своего хозяина находился Зюбрик. С тех пор, как «завистники» из соседнего полка хотели похитить лошадку, ездовой не расставался с любимцем ни на шаг. Мы подбежали к сараю, когда уже полыхала соломенная крыша и пламя гудело внутри постройки, чуть ли не доверху набитой сеном. Дверь была заперта изнутри, открыть ее было нам не под силу. Казалось, ничто не могло спасти Андрея.

Ездовой проснулся оттого, что кто-то сильно толкал его в бок. Лошадь тихонько ржала, как бы призывала хозяина: «Что ж ты спишь? Так и сгореть можно, торопись!»

Пламя преградило дорогу к двери. Занялись стропила, едкий дым забивал легкие.

— Скорее сквозь огонь к двери! — мелькнула лихорадочная мысль. — Но как пробиться через такое пекло? Эх, будь что будет!

Андрей вскочил на спину коня, пригнулся, крепко обняв шею умного животного руками. Зюбрик будто только этого и ждал. Почувствовав на спине седока, он прыгнул в пламя. Ездовой крепко зажмурил глаза, уткнув лицо в конскую гриву. С разбегу Зюбрик грудью ударил в дверь, вышиб ее и выскочил наружу. Пробежав немного, остановился как вкопанный, трясаясь мелкой дрожью.

Андрей мешком свалился нам на руки. На нем тлела гимнастерка, на шее образовался огромный волдырь. С пальцев рук чулком слезала кожа. Зюбрик тоже крепко пострадал. Брюхо у него было опалено, от шикарного белого хвоста почти ничего не осталось. Голова — в ожогах, глаза помутнели и слезились. Шерсть на груди — в крови.

Все проходит. Андрей болел недолго — молодость взяла свое. Раны скоро зажили, на пальцах выросла новая розовая кожа. Зюбрик помаленьку стал ходить в упряжке и даже пытался вновь танцевать под аккордеон. Но получалось у него почему-то не весело. Лошадь часто спотыкалась. Мы не придавали этому никакого значения — считали, что наш любимец еще не окреп после болезни.

Но если бы было так!

В наступлении, в тяжком ратном труде дни бежали незаметно. Особенно много хлопот было у нас, связистов-проводочников. Порой под жестоким минометным огнем, ползком на животе, мы по нескольку раз в день разматывали и сматывали катушки с кабелем, маскировали линию связи, искали и исправляли перебитые осколками провода. Все свободнее вздохнули, когда полк вывели из боя на отдых. Но отдых на фронте лишь желанное слово. По существу его никогда не бывает. В тылу, если можно назвать так наше новое расположение в пяти километрах от передовой, начались разные учения и смотры. Не избежали смотра и ездовые с их несложным хозяйством.

На выводку мы готовили Зюбрика тщательно и заботливо: кто расчесывал гриву, кто подрезал копыта, кто орудовал скребком. К месту сбора вели Зюбрика всем отделением гордо и торжественно, к немалой зависти хозяев заурядных лошадей.

Старичок ветеринарный фельдшер обошел несколько раз кругом нашего «араба», по-цыгански заглянул ему в зубы, долго и пристально всматривался в глаза. Потом спокойно вытер руки, неторопливо снял очки и тихонько произнес фразу, прозвучавшую для нас словно пушечный выстрел:

— А лошадка-то у вас, други, того... ослепла. Придется пустить в расход...

Эти спокойные слова нас оглушили.

Первым пришел в себя Андрей. Лицо его как-то странно перекосилось, губы побелели, глаза зажглись лихорадочным блеском.

— Пристрелить Зюбрика?! — свистящим шепотом выдавил из себя Андрей. — Ни за что! Нет!!! Слышишь, нет!!! Никогда не допущу такого злодейства.

Он крепко схватил за узду своего любимца и, как-то сгорбившись, быстро зашагал прочь.

Что делать? Этот вопрос не давал нам покоя. Расстаться с Зюбриком все мы наотрез отказались. Васька Ставров клялся, что достанет нового коня, при случае уведет у немцев, а Зюбрика предлагал «проводить на пенсию», то есть оставить в отделении, только освободить от работы. Однако держать лишнюю лошадь, да еще слепую, нам, конечно, никто разрешить не мог.

Шальной снаряд, разорвавшийся в прифронтовой роще, прервал наш маленький «военный совет». Дожевав сухарь, осмотрев коня и убедившись, что осколки его не задели, Андрей вновь возвратился на свое место.

Николай Жернов наконец-то свернул сигарку и, сладко затянувшись едким дымом, заговорил:

— Лошадь — не игрушка. Таскать ее без дела по фронту никакого резону нет. Да и убьют — жалко. Она для нас вроде как родная. Ну, от пули сбережем, а от снаряда чем ее загородишь? — показал он на место, где среди кустов во влажной земле зияла черная, еще дымившаяся яма.

— Калхоз Зюбрик дать нада, шипка кароший конь, справный конь. Много пользы давать будет, — вмешался вдруг молчавший до этого Кужбаев.

— Правильно рассудил, Исмаил, по-хозяйски рассудил, — похвалил его Жернов, — об этом и я хотел сказать.

Последнее слово было за ездовым. Андрей без особой на то нужды перемотал обмотки, посмотрел всем нам по очереди в глаза и, как-то жалко улыбнувшись, вздохнул:

— Не могу я с Зюбриком расстаться, ребята. Никак не могу...

...Май подходил к концу. Походной колонной наш, поредевший в последних боях, полк во втором эшелоне спешил на запад. Шли вперед по Минскому шоссе.

Дорога была сплошь изрыта большими и малыми воронками, словно исклевали ее гигантские злые птицы.

За сожженным дотла городком, свернув в сторону, сделали привал в небольшой деревеньке Ляпино-Ямы. Стояла пора, когда напоенная влагой земля начинала подсыхать, гребни пахоты уже подернулись сырым пепельным налетом. Невольно на память приходили горькие строки стихов полкового поэта Бориса Богаткова:

Впереди города пустые,
Нераспаханная земля.
Тяжко знать, что моя Россия
От того леска не моя.

Жители деревни после ухода врага, вновь объединившись в колхоз, старались хоть чем-нибудь обра-

ботать землю. Тракторов не было, лошадей и плугов тоже — все уничтожили фашисты. Стиснув зубы, люди ковыряли землю лопатами. Сердце сжималось, когда видели мы, здоровые парни в солдатских гимнастерках, как пять-шесть женщин, впрягшись в борону, с натугой волокли ее по пашне. Злость, обида, ненависть к войне, ко всем, кто навлек на народ такое бедствие, kloкотала в наших сердцах.

Привал затянулся. Пока кашевары орудовали у походных кухонь, солдаты, засучив рукава, дружно взялись за лопаты.

Вот в эти-то часы и решилась окончательная судьба нашего Зюбрика.

Увиденное на колхозной пашне настолько потрясло Андрея, что он решил отдать своего любимца колхозникам, благо Васька Ставров сдержал слово и пригнал откуда-то толстого, будто копна, трофейного битюга.

Провожать Зюбрика вышли на околицу всем отделением. Андрей последний раз расчесал коню гриву и хвост, нагнувшись, подозрительно долго возился, смазывая пушечным салом копыта. Пока он прихорашивал коня, мы, вывернув карманы, совали Зюбрику все, что попало в вкусного. Кто сахар, кто сухарь, кто кусочек пшеничного концентрата. Зюбрик благодарно кивал головою, но его незрячие, затуманенные слезой глаза казались нам по-человечески печальными.

— Ну, все,— стараясь быть спокойным, сказал Андрей,— поведу.

Мы видели, как задрожала его рука, когда в последний раз он взялся за уздечку.

Сгорбившись, как тогда, после смотра, Андрей зашагал в сторону, где женщины боронили с таким трудом взрыхленную лопатами, обильно политую потом, полосу земли.

НАЙДЕНЫШ

Деревня догорала. Лишь сизый дымок низко стелился над землей да кое-где, пожадничав сперва, сытые, ленивые язычки пламени нехотя лизали черные,

обугленные бревна — все, что осталось от разрушенных, разметанных поистине сатанинской силой изб. В безветренном, морозном, звонком, будто кованом, воздухе висел смрад пожарища, горький и печальный запах войны. К этому смраду никак не мог привыкнуть Егор Лыков, хотя воевал не первый год. И не впервой ему приходилось видеть сожженные города и села.

Каждый раз, когда он вдыхал то едкую, то приторно-сладкую гарь пожарища, в груди его словно что-то перевертывалось, к горлу подступал предательский комок, заставлявший отворачиваться от товарищей и для вида сморкаться, хотя стыдиться своей слабости было некого — слезы порой блестели на глазах у многих. Упади такая слеза на землю — камень прожжет.

Бой чуть слышно погромыхивал уже далеко на западе. Потрепанную в атаке роту сменили. Можно было отдохнуть, отпустить до предела натянутые нервы, словом, вздохнуть свободнее. Но душевное равновесие никак не приходило к Егору Лыкову. Думы будоражили душу.

Невдалеке трое солдат рыли братскую могилу. Они устали и, чтобы не долбить мерзлую землю, подравнивали лишь края глубокой воронки от разорвавшегося тут тяжелого снаряда. Рядом лежали те, для кого сегодняшней бой был последним.

Егор старался отогнать мысль, что, может, завтра, может, через неделю сам будет похоронен вот так же просто, без лишних речей и ненужных рыданий где-нибудь в безымянной роще. Ему было немножко жаль себя, уже пожилого человека, оторванного войной от родных, от любимого дела. Еще больше он жалел вот этих, совсем молодых ребят, с которыми дружно поднялся сегодня в атаку под шквальным пулеметным огнем. И вот они, уже неживые, лежат и стынут на морозе.

Солдату вспомнился недавний разговор со старшиной, когда он после очередного тяжелого боя подошел к Егору. Егор сидел на пенке, зажав автомат меж колен, и, еще не остывший, возбужденный, дрожащими пальцами с желтыми от махорки ногтями скручивал сигарку.

— Шел бы, Устиныч, в ездовые,— не то попросил, не то посоветовал старшина,— человек ты в годах, да и горячего хлебнул по самые ноздри. Глянь-ка на себя, ведь живого места нет, весь в шрамах. Коней ты любишь, возил бы ротный скарб да харч ребятам подбрасывал. Вот было бы и ладно...

Ничего не ответил тогда Егор, лишь глубоко затянулся махорочным дымом да так посмотрел на старшину, что тот, взглянув в побелевшее от гнева лицо солдата, все понял и, махнув рукой, подался куда-то по своим тоже нелегким, хлопотным делам.

Не сменил Егор Лыков боевого оружия на кнут ездового. И сейчас он глядел на свои жилистые руки, на заскорузлые, узловатые пальцы, до хруста сжимал кулаки, словно ломал вражье горло. Нет, силы у него не убавилось. Этим бы рукам ворочать рычаги трактора, самой мирной и доброй машины, какую он только знал. А сейчас в шершавых, мозолистых ладонях старый солдат держал автомат — оружие такое же злое и беспощадное, как сама война, которой ничего не стоило просто так, мимоходом сравнять с землей вот эту тихую и мирную деревушку.

Теперь он твердо знал, что, пока бьется в его груди сердце, пока не сгинет с родной земли накипь в серо-зеленых мундирах, он будет идти вперед. Будет беспощаден к врагу, чтобы не было вот таких пожаров, чтобы не было вдов и сирот, как у тех, кто лежит сейчас у воронки на грязном, покрытом копотью взрывов снегу.

Постепенно Егор «отходил». Выпитые до капли в тяжелом бою физические и духовные силы возвращались к солдату.

«Однако, сутки во рту маковой росинки не было,— подумал он.— А тут старшина, язви его, где-то задерживается. Так с голоду ноги протянешь, а мне это сейчас ни к чему».

Егор вспомнил, что в вещевом мешке, завернутый в чистую тряпицу, лежит ржаной сухарь, последний из неприкосновенного запаса.

«И то ладно, червячка заморить можно, а там, глядишь, и обед подвезут. Не век старшина блукать будет»,— так рассуждал он, бережно перебирая небогатое содержимое потрепанного солдатского «сидо-

ра». Тут лежал запасной диск к автомату, пачка махорки, новые портянки, коробочка с бритвой и еще кое-какая необходимая мелочь. Котелок Егор привязывал сверху, за лямки мешка, а ложку запихивал за голенище.

О, эти пахучие ржаные сухари! Кто из фронтовиков не вспоминает их с великой благодарностью к тем, чьи руки взрастили хлеб, намололи муки, испекли и высушили ароматные ломти. Сам сибирский хлебороб, Егор Лыков хорошо знал, как достаются эти черные, твердые куски. Может, и солоны-то они оттого, что поля, на которых возвращаются злаки, обильно политы людским потом да слезами вдов-солдаток. Ему казалось, что на ладони лежит не просто кусок сухого хлеба, а малая, но весомая и зримая толика человеческого труда.

Солдат хотел было наскоро пожевать сухарь, но передумал, отвязал котелок и пошел поискать снега почище, чтобы сначала согреть воды, а потом уж приняться за еду.

Каково было его удивление, когда то, что он принял за какие-то лохмотья, валявшиеся в канавке, оказалось псом. Собака была настолько тоща, что можно было свободно пересчитать ребра.

Животное еле шевелилось. Видимо, пес околевал от голода. На Егора глядели совсем, как у человека, грустные, грустные глаза, из которых крупными градинами катились слезы.

Когда солдат подошел ближе, собака хотела приставать, но ее не держали ноги.

— Вот ведь до чего дошел,— с горечью подумал Егор,— больной, что ли, либо раненый? — Но тут его взгляд остановился на обрывке цепи, и солдату стала ясна разыгравшаяся здесь маленькая трагедия. Собака случайно запуталась цепью за торчавший из земли железный прут.

Чтобы разом покончить с мучениями пса, Егор оттянул затвор автомата, но с выстрелом медлил. На миг ему представилась давно забытая, но сейчас вновь ожившая в памяти картина: закончены полевые работы, отшумел веселый праздник урожая, по первой пороше Егор идет с Цыганком в тайгу белковать. Нет, не на промысел, а так, размять плечи, по-

дышать смолистым воздухом, полюбоваться на красоту зимнего леса.

Впереди скачет Цыганок. Лайке радостно, что хозяин наконец-то взял ее на охоту, а он, Егор, глядит и наглядеться не может и на этот белый до голубизны снег, и на стройные кедры, и на манящую фиолетовую даль родных просторов.

Выстрел так и не прозвучал. Егор решил выходить собаку, а там будь что будет. Главное — не дать ей пропасть. Пусть гуляет по свету, ведь живая тварь, что ж ее убивать, а того хуже — бросить беспомощную. Он взял совсем легкого пса на руки и пошел к тому месту, где оставил свой вещевой мешок.

Дальше Егор делал все быстро и проворно. Набил котелок снегом, поставил его на еще тлеющие головни, с трудом раздобыл соломы, сделав для себя и собаки временное удобное логово.

Когда вода согрелась, развернул заветную тряпицу, аккуратно собрал и ссыпал крошки в котелок. Хотел было откусить кусочек, но, несмотря на липкую голодную слюну, заполнившую рот, удержался от соблазна.

Размочил сухарь, отломил частичку и, положив на ладонь, подал собаке. Но у пса лишь мелко-мелко дрожали губы да участилось дыхание. Знать, не было сил лизнуть ладонь человека.

Тогда Егор достал ложку, почерпнул воды, размял в ней хлеб и, разжав собаке челюсти, влил в пасть коричневое месиво. Так он делал до тех пор, пока от сухаря ничего не осталось. Подтянув потуже ремень, голодный, но с какой-то необыкновенной легкостью на душе, словно осилил что-то трудное и очень важное, улегся спать, прикрыв собаку полой шинели.

В сожженном поселке рота задержалась надолго. Ждали пополнения, а его все не было. Солдаты быстро обживают новые места. Вот уж выкопаны теплые блиндажи. Из обгорелых досок построены нары и даже настланы полы. Чьи-то заботливые руки соорудили оградку на братской могиле. Поставили искусно вытесанный топором из пощаженного огнем бревнаobelisk, прикрепив к нему звездочку, вырезанную из консервной банки. Это только пока. А придут сюда

люди, станут поднимать из руин село, глядишь, и поставят на этом месте настоящий памятник.

Все помылись в построенной по-черному бане, почистились, побрились, и как-то сразу стало веселее. Чаше раздавался смех, соленые шутки, от которых, казалось, даже у Егорова найденыша прижимались уши. Появилась гармошка, ее кто-то из больших любителей музыки таскал в вещевом мешке.

На «вольных» харчах Цыганок, как называл собаку Егор в честь своей лайки, быстро поправился, шерсть очистилась от свисавших клочьев и заблестела. У пса появился пропавший было голос.

К землянке, где жил Егор, часто наведывались свободные от наряда солдаты — поболтать, повозиться с Цыганком, ведь от этих шумных забав веяло чем-то родным, далеким, домашним.

Иногда вечерами солдаты усаживались в кружок, появлялась гармонь, и долго над мертвой деревней звучали песни про то, как на позицию девушка провожала бойца, про синий платочек, про все, что дорого было солдатскому сердцу. Казалось, что к песне прислушиваются и обгорелые печи, и нахохлившийся обгорелый деревянный ветряк, и те, кто лежит рядом в тесной и сырой могиле.

Изредка над головами звенел мотором заблудший «мессер», бросал пару бомб, пугал ротных лошадей пулеметными очередями и так же внезапно исчезал, как появлялся. Жизнь шла по-прежнему.

У хозяйственного старшины были особые виды на собаку. Однажды в разговоре с Егором он начал издалика:

— Устиныч, куда Цыганка денешь, как опять в бой пойдем?

— Знамо, куда,— зло отмахнулся Егор,— с собой возьму.

— Собаку к делу пристроить надо, понял? — старшина для большей убедительности постучал пальцем по лбу.

Егор не возражал, чтобы к делу. Но не мог понять, к какому.

— К нашему ротному,— объяснил старшина,— сделаем Цыганку сани вроде маленькой лодочки, упряжь сошьем, раненых будет вывозить из боя. Со-

бака — мишень не велика, да и санитарам большое облегчение — все под огнем не на себе тащить человека.

После этого разговора судьба Егорова найденыша решилась окончательно. А вскоре о собаке заговорили во всем батальоне. Рослую, смышленную дворняжку, запряженную в лодку-ледянку, часто видели в самой гуще боя. По команде санитаров она ложилась, бежала, а где нужно, ползком подбиралась к раненому.

Многие жизни спас Цыганок в те горячие дни зимнего наступления. При встрече солдаты гладили пса, совали ему кусочек сахара либо колбасы из неприкосновенного запаса.

...Зеленая ракета, шипя, взметнулась ввысь,глянула сверху недобрый волчьим глазом и рассыпалась искрами. Земля-матушка, тебе одной ведомо, как стучит солдатское сердце, когда лежит он в ожидании атаки под пулеметным огнем. И нет, кажись, такой силы, чтобы оторвала его от тебя, защитница. Ан, находится такая сила, имя ей — солдатский долг. Она-то, словно пружина, поднимает солдата, хоть небо кажется ему с овчинку.

Тотчас, как погасла ракета, Егор Лыков услышал свисток взводного — сигнал к атаке. Дальше солдат знал, что делать. Он давно, еще на исходном рубеже, приглядел, куда лучше сделать рывок.

Прямо перед ним, перед чужой траншеей, в проволочном заграждении был проход — то ли заранее проделанный саперами, то ли образовавшийся после артиллерийского обстрела. Туда и бежал сейчас солдат. Одна мысль сидела в голове: быстрее добраться до вражеского окопа, а там, в рукопашной, он себя покажет...

Это было последнее, о чем подумал Егор. На миг ему показалось, что огненная змея больно куснула его в плечо, в бок, в бедро... Он не услышал ни пулеметной очереди, опрокинувшей его на снег, ни взрыва гранаты, который ее оборвал. Солдату показалось, что он летит на дно глубокого темного колодца...

...Очнулся Егор оттого, что кто-то, взвизгивая, шершавым горячим языком лизал ему лицо.

— Никак, Цыганок,— мелькнула радостная мысль.— Выходит, жив я, жив...

Он хотел поднять руку и погладить пса, но не смог. Хотел позвать на помощь, но только пошевелил сухими губами и снова впал в забытие.

Вторично Егор пришел в себя, когда уже лежал на душистых еловых ветках в палатке медсанбата. Ему только что сделали переливание крови, и жизнь медленно возвращалась к солдату.

Сквозь полудрему он слышал, как их ротный санинструктор кому-то неторопливо рассказывал:

— Обошли мы с Цыганком после боя нейтралку, раненых вроде не видать, никто голоса не подает. А темень такая — глаз выколи, да еще поземка началась. Продрог я до костей. Дай, думаю, зайду в землянку, где раньше было наше боевое охранение, погреюсь малость да покурю. Дал собаке котелок каши, ее солдатский паек. Пока, мол, ест, я управлюсь. Выхожу, нет Цыганка. Я туда, я сюда — пропала собака. Вдруг слышу, воет, да жалобно так. Нешто пес кого разыскал? Схватил лодку-волокушу да и к нему. А он, видишь, своего хозяина раненого нашел. Все бы ничего, да, когда назад возвращались, накрыл нас миномет, меня-то с Егором не задело, а вот собаку...

У Егора застучало сердце и сразу высохло во рту. Он подумал, что сейчас услышит страшное слово «убило».

Но санитар, затянувшись дымком махорки, закончил: «...зацепило крепко, лапу переднюю перебило. Ничего, срастется, перевязали по всем правилам. Все за Устинычем порывалась бежать, да ребята не пустили...»

...Долго Егор Лыков лечился в разных госпиталях, а когда вновь возвратился в родную роту, весна была в разгаре. На березах зеленели клейкие листочки, свежая изумрудная травка пробивалась по обочинам дороги — природа обновлялась.

Лишь война не меняла своего страшного лика. По-прежнему чернели головешки пожарищ, исковерканные, изуродованные танки, холмики могил...

...Первым, кто узнал Егора в роте, был, конечно,

Цыганок. Радостно визжа, собака прыгала вокруг, стараясь лизнуть солдата в лицо. После ранения пес охромел. Знать, доморощенные эскулапы допустили какую-то промашку, потому и срослась передняя лапа собаки неправильно. Теперь она стала, будто согнутая в локте рука.

Окружившие Егора солдаты, среди которых старых знакомых было совсем мало, между расспросами о том, «как там в тылу», сообщили, что Цыганок теперь на «пенсии». Но собака не ест хлеб даром. Она исправно несет караульную службу при хозяйственном взводе.

...С переходом через старую западную границу Родины бои еще более ожесточились. Сплошного фронта не было, война стала маневренной. Выгадывал тот, кто неожиданно нападал на противника, зайдя ему в тыл.

В один из таких походов и была снаряжена рота Егора Лыкова. По бездорожью за ночь надо было пройти немало верст, чтобы оказаться у врага за спиной. Пулеметы, мины, тяжелые минометные плиты и стволы — все несли солдаты на своих плечах. В темноте Егор не заметил, что вслед за ним увязался Цыганок, а когда увидел, было поздно: рота успела отмахать уже верст десять.

«Что делать с собакой? — с досадой подумал Егор. — Не дойдет ведь на трех лапах, пропадет пес».

...Вязнут ноги в липкой весенней грязи, мочи нет вытягивать ставшие пудовыми сапоги. Присесть бы, отдохнуть, затянуться дымком махорки, да нельзя. Командир торопит: скорей, скорей...

Шумят над головами сосны, бросают вниз набухшие от весенних дождей шишки, а рота все идет, идет, и нет конца-краю пути.

Иногда попадают топи, от ядовитого тумана першит в горле. Сбрасывают солдаты с плеч тяжелую ношу, берутся за топоры, строят гать. И снова вперед...

На коротких привалах не садятся — грохаются люди на землю без разбора. Ломит тело, глаза склеивает липкая дрема... А через пять минут: «Подымайтесь!»...

На одном из таких привалов Егор устало продел руки в лямки вещевого мешка, шагнул было раз-два,

но, вспомнив о собаке, оглянулся. Цыганок лежал, положив голову на изуродованную лапу.

— Вставай, Цыганок! — позвал солдат. — Вставай скорей.

Пес виновато пошевелил хвостом, но не поднялся. Тогда Егор, не долго думая, подошел к другу, поднял собаку на руки и пошел догонять строй.

Как в полудреме, обливаясь потом, с тяжелой ношей шагал Егор Лыков, шатаясь от усталости, но скорей провалился бы сквозь землю, чем бросил пса. Вдруг он услышал:

— Устиныч, дай-ка я понесу собаку маленько. Отдохни...

Потом Егор Лыков видел, как Цыганка передавали из рук в руки, сами донельзя уставшие, измученные тяжелым походом солдаты.

«С такими людьми дойдем, — думал Егор, — до-топаем до самого Берлина...»

ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
СКРЕБИЦКИЙ
1903—1964

ЧЕМУ НАУЧИЛА СКАЗКА

Одно из первых стихотворений, которое в детстве я знал наизусть, была «Песнь о вещем Олеге».

С этим стихотворением связано много воспоминаний. Прежде всего мы с братом Сережей его обычно читали вслух, когда приходили гости. А иногда вечером, если папа не уходил к больным и был в хорошем настроении, он подсаживался к роялю, храбро, хотя и не очень умело брал первый аккорд и начинал вполголоса напевать эту же песнь. Сережа и я являлись на помощь и дружно подхватывали.

В исполнение любимой вещи мы все трое старались вложить как можно больше души и страсти. Наши голоса звучали все громче и все грознее, совсем заглушая аккомпанемент.

Частенько в самый трагический момент, когда Олег упрекает кудесника: «Ты лживый, безумный старик! Презреть бы твое предсказанье!» — в комнату торопливо входила мама. Она указывала на открытое окно и с испугом говорила: «Алексей Михайлович, Алексей Михайлович, ради бога потише, ведь подумают, что у нас пьяные дерутся!..»

Но мы не сдавались. Пусть думают, что хотят.

«Песнь о вещем Олеге» продолжала звучать так же громко и так же воинственно.

Я очень любил эту вещь, в особенности за таинственность ее слов, многие из которых совершенно не понимал. Что такое «вещий», или «неразумным хозарам», или «обрек»? Даже самые обычные слова здесь воспринимались мной в каком-то совершенно новом,

совершенно особенном смысле. Так, например, я приходил в восторг от непонятого выражения «за буйный набег». Я знал слово «буйный». А уж «забуйный» — это, наверное, что-то особенно сильное.

Вся песня была таинственна, непонятна и именно поэтому мне еще больше нравилась.

Однако лучше всего, конечно, то самое место, где «из мертвой главы гробовая змея, шипя, между тем выползала...»

До сих пор помню, как в этом месте холодные мурашки пробегали у меня по спине и я украдкой заглядывал на рояль, не покажется ли из темного угла роковое чудовище.

Однажды я спросил Сережу, как он думает: в каждом ли конском черепе, которые валяются по канавам, живет гробовая змея? Сережа ответил утвердительно.

Это открытие было жутко, но увлекательно. Посоветовавшись, мы решили выгнать змею из ее убежища, защемить деревянной рогатиной и принести в подарок Михалычу.

И вот в первый погожий день, как только Сережа пришел из школы, мы вооружились рогатинами и отправились в опасное путешествие. Дома сказали, что идем играть к товарищам.

За городом все уже зеленело. По склону оврага цвела черемуха. Бабочки, пчелы, жуки кружились возле мохнатых веток. А как хорошо пахло от этих цветущих кустов, от свежей травы, от молодых, едва распустившихся листьев!

Как звонко откуда-то с высоты разливались песни жаворонков!

Но нам с Сережей было не до цветов и не до песен. Мы осторожно пробирались по склону оврага, среди зарослей молодых лопухов и крапивы.

Где же конские черепа? Казалось, раньше они валялись повсюду, в каждой канаве, а вот теперь, когда надо, нет ни одного.

Наконец у самого дна оврага я заметил белевший череп. Он почти целиком был укрыт листьями лопуха. Череп лежал на земле, оскалив зубы и глядя на нас черными впадинами пустых глазниц.

На дне оврага было сыро и темновато от густо разросшихся кустов бузины. Где-то в ветвях тревожно

застрекотали сороки, предупреждая нас о грозящей опасности.

Дрожа и подбадривая друг друга, мы приближались к таинственному обиталищу гробовой змеи.

— Давай бросим сначала камень,— сказал Сережа.

— Давай.

Камень стукнулся о голую кость. Мы взяли рога-тины на изготовку. Но змея не появлялась.

— Затаилась,— прошептал Сережа.— Бросим еще один.

Бросили. Опять ничего.

Понемногу осмелившись, мы подошли поближе к черепу и наконец решили копнуть его концом рога-тины. Сережа первый подцепил палкой за челюсть, сдвинул череп с прежнего места. И вдруг из-под зеленого лопуха показалось что-то темное, изогнутое...

— Змея!

Мы отскочили прочь.

Но темный крючок не двигался, не нападал на нас.

— Да это рог! — приглядевшись, воскликнул Сережа.— Коровий рог!

Вот так сюрприз! Значит, и череп был совсем не коня, а коровы. В зарослях лопухов рога-то мы сразу и не заметили. Все было ясно — в коровьем черепе гробовая змея, конечно, не должна водиться.

Так бесславно кончилось наше первое путешествие, наша первая охота за гробовой змеей.

Однако эта неудача не заставила нас с Сережей упасть духом, мы вовсе не успокоились и продолжали поиски конских черепов.

Черепы мы нашли, но, увы, ни в одном из них гробовой змеи так и не оказалось.

Ну и что ж? Не беда! Пусть гробовая змея обитала только в одном-единственном черепе, на который так неосмотрительно наступил злосчастный Олег, пусть так, но от этого наши поиски не стали менее интересны.

Мы с Сережей воображали себя отважными охотниками, ловцами ядовитых змей. С самого утра мы отправлялись на поиски, лазили по канавам, оврагам, продирались сквозь колючие заросли шиповника. К полудню солнце начинало уже припекать, обжигало шею и спину. Но в кустах долго еще сохранялась утренняя прохлада, и капли росы, словно круглые

прозрачные жучки, сидели на листьях, на розовых лепестках цветов.

Тронешь ветку, и «капля-жучок» вмиг оживет, побежит по ней, покатится вниз, спрыгнет в траву, сверкнув напоследок золотым огоньком.

Но вот заросли кончились. Впереди лужайка. Она вся в цветах. Тут и синие колокольчики, и красный клевер, и розовая полевая гвоздика... Особенно хороши ромашки — большие, глазастые, с золотой сердцевинкой и белоснежными лепестками. Они тянутся к солнцу и сами похожи на золотое солнышко; сотни, тысячи крохотных солнышек здесь на земле, совсем рядом с нами.

Цветы на земле среди густой зеленой травы, и «цветы» над землей, в воздухе, — целый рой порхающих бабочек с крылышками, как яркие лепестки: пестрые крапивницы, перламутровки, адмиралы, темно-бурые, почти черные траурницы с белой оторочкой на крыльях, желтые лимонницы и скромные, как голубые фиалки, мотыльки.

Мотыльков особенно много около луж. Они садятся на бережок и сидят стайками у самой воды.

А в воде своя особая жизнь: по гладкой поверхности лужи, будто по твердому льду, носятся взад и вперед длинноногие водомерки, бегают по воде и не тонут.

Вот вынырнул из глубины подышать черный жук-плавунец; а паук-водолаз, наоборот, ныряет в глубину, унося с собой пузырек воздуха для своего подводного колокола.

Всюду, в воздухе, на земле и в воде, кипела жизнь, жизнь, похожая на чудесную сказку. И, бродя в поисках гробовой змеи, я невольно следил за нею.

Можно ручаться, что, создавая свою легенду, Пушкин никогда не мог и помыслить, что она сослужит когда-нибудь столь странную службу — заставит двух ребят искать таинственных обитателей черепов и попутно знакомиться с жизнью природы. Но именно так и случилось: «Песнь о вещем Олеге» дала первый толчок моим наблюдениям над миром природы; мало того, она сразу же придала им всю прелесть чего-то таинственного и прекрасного. Живая природа и чудесная сказка слились в моей душе воедино и, помимо сознания и воли, уже заранее предначертали весь мой дальнейший жизненный путь.

Наверное, в те самые дни, когда я с замиранием

сердца разыскивал по заросшим канавам конские черепа и старался выгнать из них роковое чудовище, именно тогда-то бесповоротно решилась моя судьба. Сказка Пушкина показала мне окружающий мир через волшебное стеклышко красоты и поэзии, она подружила меня с природой и с творческим вымыслом, заставила всей душою поверить в них и служить им всю мою жизнь.

СИНИЧКА

На дворе стояли трескучие морозы.

Каждое утро после чая я надевал шубу, валенки и выбегал ненадолго погулять. Прежде всего я бежал в сад к яблоне, где мы с папой устроили птичью столовую.

Еще месяц назад папа пристроил там дощечку, а я сыпал на нее разные крошки и зернышки.

Положив свежего корма для птиц, я отправлялся кататься с горы на санках. Но мороз обычно бывал так крепок, что лицо и руки начинали мерзнуть, и приходилось возвращаться домой.

Играя дома, я часто подбегал к окну и смотрел, что делается на дворе. Деревья сада стояли седые от инея, а солнце светило тускло, будто сквозь туман.

Ах, как холодно было на воле! Птицы почти не показывались, они забились куда-то под застрехи от пронизывающего ледяного ветра.

А один раз утром, выбежав из дому, чтобы отнести птичкам корм, я вдруг увидел, что у забора темнеет какой-то комочек перьев. Я подошел.

Прямо на снегу лежала синичка. Она не двигалась. Глаза у нее были закрыты.

Я взял птичку в пригоршни и старался согреть ее своим дыханием. «Неужели она совсем замерзла?» — подумал я.

Но тут вдруг синичка открыла черные, как бусинки, глаза и сейчас же вновь их закрыла.

«Жива, жива!» — обрадовался я и побежал с птичкой в руках домой.

Мы с мамой положили синичку в клетку, а клетку поставили поближе к печке.

— Мама, а как ты думаешь, она оживет? — спрашивал я.

— Думаю, отогреется, — отвечала мама.

И вдруг птичка будто проснулась. Она открыла глазки, встрепенулась, вскочила на ножки и громко-громко зачирикала. Потом она начала отряхиваться, прихорашиваться, поправлять перышки.

Я осторожно поставил ей в клетку чашечку с коноплей и блюдце воды.

Но синица не испугалась моей руки, она только слегка отскочила в другой конец клетки, а когда я убрал руку и запер дверцу, сейчас же вспорхнула на край чашечки и стала клевать коноплю.

— Смотри, мама, да она совсем ручная! — радовался я.

— Нет, Юра, она не ручная, а очень голодная. Ведь сейчас птицам трудно добывать себе корм.

— А почему же они все к нам в столовую не летают? Я же им каждое утро угощение сыплю!

— Потому что не все птицы про твою столовую знают. Вот и эта, наверное, откуда-нибудь издалека сюда прилетела, — ответила мама.

Синичка наелась вволю, попила из блюдечка воды и стала скакать с жердочки на жердочку.

Я поставил клетку на окно в спальне и занялся своими делами.

К обеду пришел папа. Он посмотрел на синичку и сказал:

— Поживет денька два в клетке, а там можно ее и выпустить, пускай себе по комнатам летает.

— А если она вылетит в дверь или в форточку и улетит? — забеспокоился я. — Ведь она опять может замерзнуть!

— Нет, теперь уж она от голода и холода не погибнет, — отвечал папа. — Синички — птицы догадливые. Раз уж ее тут подкормили, согрели, она всю зиму будет около нашего дома держаться и твою столовую мигом найдет.

— Может, тогда ее лучше самим выпустить? — предложила мама.

Но мне было очень жалко так скоро расставаться с этой веселой птичкой, и я попросил маму и папу, чтобы они разрешили подержать в доме синицу.

— Пусть она у нас пока в клетке поживет, ото-

греется, откормится, а там, к весне, мы ее и выпустим.

Синичка прожила у нас всю зиму. Она очень скоро совсем оправилась, целые дни прыгала с жердочки на жердочку и не билась в клетке, когда я ставил ей чашку с водой или сыпал в кормушку коноплю.

А один раз птичка, даже не дожидаясь, пока я поставлю ей еду, чирикнув, прыгнула мне прямо на руку. Скакнула по руке раз, другой, потом приостановилась, склонила головку и вдруг клюнула меня в родинку на пальце — клюнула и даже слегка потянула ее к себе. Но убедившись, что это что-то вовсе несъедобное, синичка забавно потрясла головкой и потом почистила о мою же руку свой клюв.

Я был в восторге и все держал в клетке руку. Синичка с нею, видимо, совсем освоилась. Она то прыгала по руке, то взлетала на жердочку.

Наконец я устал держать руку в одном и том же положении, вытащил ее из клетки и побежал позвать маму, чтобы она поглядела, как я здорово приручил птичку.

Маму я нашел в кухне.

Мы вместе вернулись в столовую и увидели, как из спальни вышла бабушка.

— Подожди, Юра, не входи, — остановила она меня. — Я там форточку открыла, чтобы немного комнату проветрить.

Мама вошла в комнату, закрыла форточку и тут же вышла обратно.

— Юра, ты не огорчайся, — сказала она, — ты забыл запереть клетку. Синички там нет, она улетела в форточку.

Я вбежал в спальню, оглядел всю комнату — синички нигде не было.

— И очень хорошо, что она улетела, — сказала мама, желая меня успокоить. — Твоей синичке сейчас гораздо лучше на воле, чем в клетке. Нечего зря ее мучить.

— А пусть бы она пожила у нас хоть немножко... — уныло возражал я. — Может, и совсем бы ко мне привыкла и улетать не захотела.

— Ну, этого не бывает! — ответила мама. — Я уверена, что она поселится где-нибудь близко от на-

шего дома. Тут и гнездо совет. Мы ее, конечно, еще увидим.

Я поверил маме, что синичка поселится около дома, и вполне утешился.

Когда пришел домой папа, он тоже сказал:

— И отлично, что синицу выпустили. Уже скоро весна. Ей нужно гнездо строить, а не в клетке сидеть.

Разговаривая, мы все стояли в столовой. Мама накрывала стол к обеду, а я ей помогал.

Вдруг мне показалось, что мама совсем тихо постучала пальцем о тарелку.

— Ты что? — спросил я ее.

Мама не поняла.

— Зачем ты постучала о тарелку?

— Да я и не думала стучать!

— А кто же это?..

Я не успел договорить, как вновь послышался тихий стук.

— Слышите, слышите?..

Стук опять повторился.

— Да это в спальне, кажется, кто-то в окошко стучит, — сказала мама.

Она заглянула туда и сразу, подняв палец вверх, зашептала:

— Тс-с-с... тише, тише...

Папа и я на цыпочках подошли к двери и тоже заглянули в нее. Снаружи на окне, на запертой форточке, сидела синичка. Она то заглядывала в комнату, то тюкала носиком в стекло — очевидно, пыталась влететь в комнату и не могла.

Мама осторожно подошла к окну, но только протянула руку к форточке, как синичка вспорхнула и исчезла за окном.

— Улетела, теперь уж не прилетит, — совсем огорчился я.

— Это неизвестно. Может, и еще раз прилетит, — возразил папа. — Оставьте фортку открытой и идемте обедать, а то я очень голоден.

За обедом я почти ничего не ел и все прислушивался, не чирикнет ли синичка в соседней комнате. Я даже несколько раз порывался выскочить из-за стола и заглянуть в спальню, но мама строго сказала:

— Пока не съешь суп и второе, я тебя из-за стола не выпущу.

Пришлось все съесть.

Наконец этот бесконечный обед кончился, я подбежал к двери и заглянул в спальню. Клетка на окне стояла пустая, и нигде в комнате синички не было видно.

Я сел в столовой к окну и стал от нечего делать перелистывать какую-то книжку с картинками, а сам все думал о синичке... Вот если бы форточку сразу не заперли, синичка вернулась бы к нам. А теперь она улетела куда-то далеко и больше уже не вернется...

Наконец и мама сказала, что, видно, синица не хочет возвращаться и пора запереть форточку, а то и так всю комнату выстудили.

Мама пошла в спальню, заперла форточку и открыла дверь, чтобы воздух в комнатах сровнялся.

Немного погодя я тоже вошел в спальню — убрать пустую клетку.

Мельком я взглянул в окно. На дворе было пасмурно. Шел не то дождь, не то снег. Сугробы под окном осели и сделались совсем темные. Намокшие голые деревья в саду тоже темнели как-то неприветливо.

«Чирвивик!» — громко и отчетливо раздалось где-то совсем рядом.

Я вздрогнул и оглянулся.

«Чирвивик!» — послышалось вновь. Я поднял голову. На краю шкафа сидела синичка и сверху вниз поглядывала на меня.

— Мама! Она здесь, здесь! — обрадовался я.

Все — мама, папа и бабушка — вбежали в комнату и сразу увидели синичку.

— Как же я ее не заметила, когда фортку закрывала? — сказала мама.

— Да и я ее тоже сразу не заметил! — радовался я. — Она меня первая увидела и поздоровалась со мной!

— Ну, теперь оставьте ее в покое, — сказал папа. — Она, когда захочет, сама в клетку залетит.

И действительно, полетав немного по комнате, синичка залетела к себе в клетку и начала с аппетитом клевать коноплю. А потом вылетела вновь и уселась на уголок печки. Был уже вечер. Синичка рас-

пушилась, как шарик, спрятала головку под крыло, да так и уснула, сидя на печке.

С тех пор она стала жить на полной свободе.

ВОРИШКА

Однажды нам подарили молодую белку. Она очень скоро стала совсем ручная, бегала по всем комнатам, лазила на шкафы, этажерки, да так ловко — никогда ничего не уронит, не разобьет.

В кабинете у отца над диваном были прибиты огромные оленьи рога. Белка часто по ним лазила: заберется, бывало, на рог и сидит на нем, как на сучке дерева.

Нас, ребят, она хорошо знала. Только войдешь в комнату, белка прыг откуда-нибудь со шкафа прямо на плечо. Это значит — она просит сахару или конфетку. Очень любила сладкое.

Конфеты и сахар у нас в столовой, в буфете, лежали. Их никогда не запирали, потому что мы, дети, без спросу ничего не брали.

Но вот как-то зовет мама нас всех в столовую и показывает пустую вазочку:

— Кто же это конфеты отсюда взял?

Мы глядим друг на друга и молчим — не знаем, кто из нас это сделал. Мама покачала головой и ничего не сказала. А на следующий день сахар из буфета пропал и опять никто не сознался, что взял. Тут уж и отец рассердился, сказал, что теперь все будет запирается, а нам всю неделю сладкого не даст.

И белка заодно с нами без сладкого осталась. Вспрыгнет, бывало, на плечо, мордочкой о щеку трется, за ухо зубами дергает — просит сахару. А где его взять?

Один раз после обеда сидел я тихонько на диване в столовой и читал. Вдруг вижу: белка вскочила на стол, схватила в зубы корочку хлеба — и на пол, а оттуда на шкаф. Через минуту, смотрю, опять на стол забралась, схватила вторую корочку — и опять на шкаф.

«Постой, — думаю, — куда это она хлеб все носит?» Подставил я стул, заглянул на шкаф. Вижу —

старая мамина шляпа лежит. Приподнял я ее — вот тебе раз! Чего-чего только под нею нет: и сахар, и конфеты, и хлеб, и разные косточки...

Я — прямо к отцу, показываю. «Вот кто у нас во-ришка!»

А отец рассмеялся и говорит:

— Как же это я раньше не догадался! Ведь это наша белка на зиму себе запасы делает. Теперь осень, на воле все белки корм запасают, ну и наша не от-стает.

После такого случая перестали от нас запирасть сладкое, только к буфету крючок приделали, чтобы белка туда залезть не могла.

Но белка на этом не успокоилась, все продолжала запасы на зиму готовить. Найдет корочку хлеба, орех или косточку — сейчас схватит, убежит и спрячет куда-нибудь.

А то ходили мы как-то в лес за грибами. При-шли поздно вечером, усталые, поели — и скорее спать. Кошелку с грибами на окне оставили: про-хладно там, не испортятся до утра.

Утром встаем — вся корзина пустая. Куда же грибы делись? Вдруг отец из кабинета кричит, нас зовет. Прибежали к нему, глядим — все оленьи рога над диваном грибами увешаны. И на крючке для по-лотенца, и за зеркалом, и за картиной — всюду грибы. Это белка ранехонько утром постаралась: развесила грибы себе на зиму посушить.

В лесу белки всегда осенью грибы на сучьях су-шат. Вот и наша поспешила. Видно, почуяла зиму.

Скоро и вправду наступили холода. Белка все ста-ралась забраться куда-нибудь в уголок, где бы потеп-лее, а как-то раз она и вовсе пропала. Искали, иска-ли ее — нигде нет. Наверное, убежала в сад, а оттуда в лес.

Жалко нам стало белочки, да ничего не подела-ешь.

Собрались топить печку, закрыли отдушник, на-ложили дров, подожгли. Вдруг в печке как заводит-ся что-то, зашуршит! Мы отдушник поскорее откры-ли, а оттуда белка пулей выскочила — и прямо на шкаф.

А дым из печки в комнату так и валит, в трубу никак не идет. Что такое? Брат сделал из толстой

проводами крючок и просунул его через отдушину в трубу, чтобы узнать, нет ли там чего.

Глядим — тащит из трубы галстук, мамину перчатку, даже бабушкину праздничную косынку там разыскал.

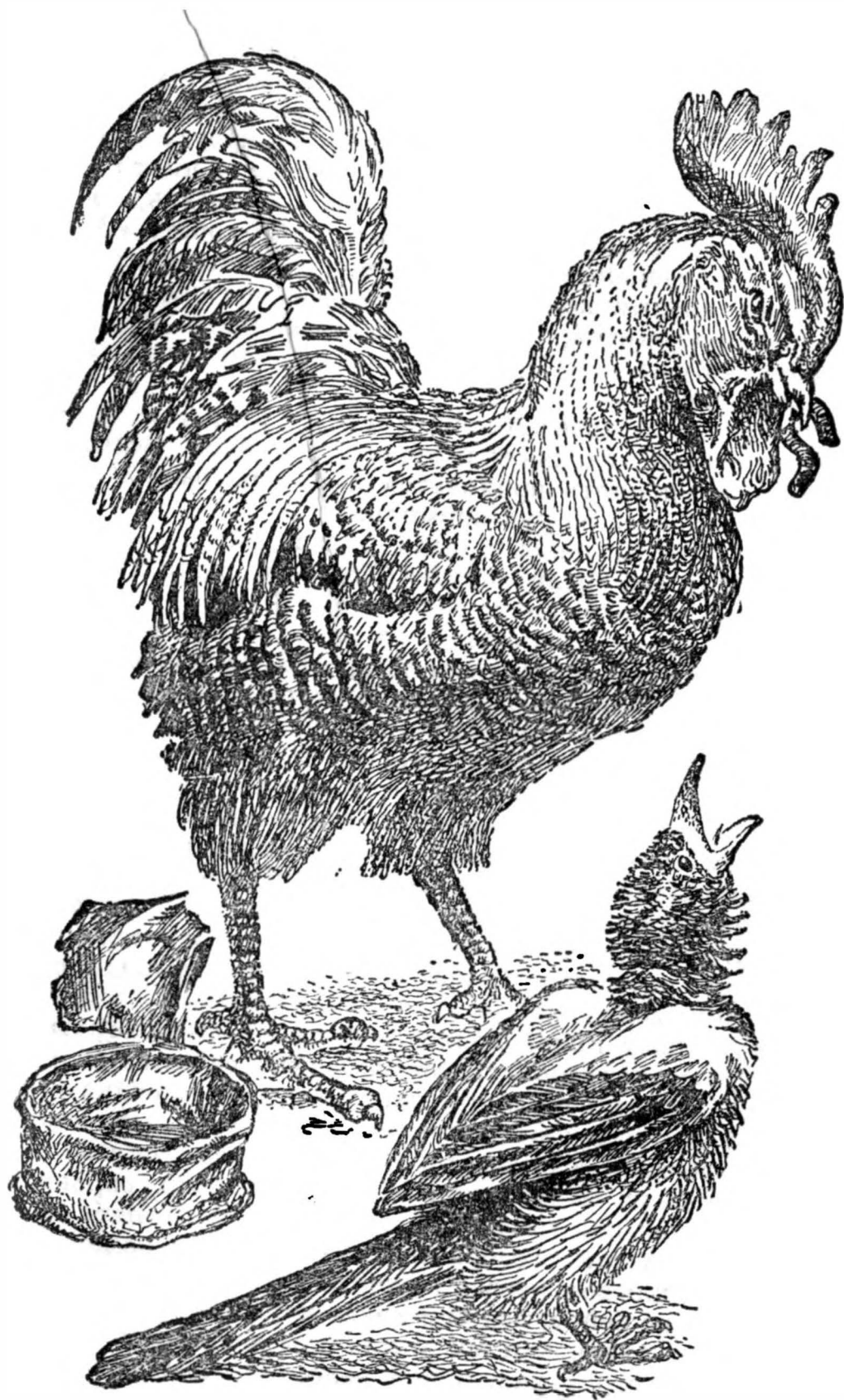
Все это наша белка себе для гнезда в трубу затащила. Вот ведь какая! Хотя и в доме живет, а лесные повадки не оставляет. Такова уж, видно, их беличья натура.

СИРОТКА

Принесли нам ребята небольшого сорочонка... Летать он еще не мог, только прыгал. Кормили мы его творогом, кашей, моченым хлебом, давали маленькие кусочки вареного мяса; он все ел, ни от чего не отказывался.

Скоро у сорочонка отрос длинный хвост и крылья обросли жесткими черными перьями. Он быстро научился летать и переселился на житье из комнаты на балкон.

Только вот какая с ним была беда: никак наш сорочонок не мог выучиться самостоятельно есть. Со всем уж взрослая птица, красивая такая, летает хорошо, а еду все, как маленький птенчик, просит. Выйдешь на балкон, сядешь за стол, сорока уж тут как тут, вертится перед тобой, приседает, топорщит крылышки, рот раскрывает. И смешно и жалко ее. Мама даже прозвала ее Сироткой. Сунет ей, бывало, в рот творогу или моченого хлеба, проглотит сорока — и опять начинает просить, а сама из тарелки никак не клюет. Учили-учили мы ее — ничего не вышло, так и приходилось ей в рот корм запихивать. Наестся, бывало, Сиротка, встряхнется, посмотрит хитрым черным глазком на тарелку, нет ли там еще чего-нибудь вкусного, да и взлетит на перекладину под самый потолок или полетит в сад, на двор... Она всюду летала и со всеми была знакома: с толстым котом Иванычем, с охотничьей собакой Джеком, с утками, курами; даже со старым драчливым петухом Петровичем сорока была в приятельских отношениях. Всех он на дворе задирает, а ее не трогал. Бы-



вало, клюют куры из корыта, и сорока тут же вертится. Вкусно пахнет теплыми мочеными отрубями, хочется сороке позавтракать в дружеской куриной компании, да ничего не выходит. Пристает Сиротка к курам, приседает, пищит, клюв раскрывает — никто ее покормить не хочет. Подскочит она и к Петровичу, запищит, а тот только взглянет на нее, забормочет: «Это что за безобразие!» — и прочь отойдет. А потом вдруг захлопает своими крепкими крыльями, вытянет кверху шею, натужится, на цыпочки встанет да как запоеет: «Ку-ка-ре-ку!» — так громко, что даже за рекой слышно.

А сорока попрыгает-попрыгает по двору, в конюшню слетает, заглянет к корове в стойло... Все сами едят, а ей опять приходится лететь на балкон и просить, чтобы ее из рук кормили.

Вот однажды некому было с сорокой возиться. Целый день все были заняты. Уж она пристакала-приставала ко всем, никто ее не кормит!

Я в этот день с утра рыбу на речке ловил, вернулся домой только к вечеру и выбросил на дворе оставшихся от ловли червей. Пусть куры поклюют.

Петрович сразу заметил добычу, подбежал и начал сзывать кур: «Ко-ко-ко-ко! Ко-ко-ко-ко!» А они, как назло, куда-то разбрелись, ни одной во дворе нет. Уж петух прямо из сил выбивается! Зовет, зовет, потом схватит червяка в клюв, потрясет им, бросит и опять зовет — ни за что первый съесть не хочет. Даже охрип, а куры все не идут.

Вдруг, откуда ни возьмись, сорока. Подлетела к Петровичу, растопырила крылья и рот раскрыла: покорми, мол, меня.

Петух сразу прибодрился, схватил в клюв огромного червяка, поднял, трясет им перед самым носом сороки. Та смотрела, смотрела, потом цоп червяка — и съела! А петух уж ей второго подает. Съела и второго и третьего, а четвертого Петрович сам склевал.

Гляжу я из окна и удивляюсь, как петух сороку из клюва кормит: то ей даст, то сам съест, то опять ей предложит. А сам все приговаривает: «Ко-ко-ко-ко!..» Кланяется, клювом червей на земле показывает:

«Ешь, мол, не бойся, вон они какие вкусные».

И уж не знаю, как это у них там все получилось, как он ей растолковал, в чем дело, только вижу, за-

кокал петух, показал на земле червяка, а сорока подскочила, повернула головку набок, на другой, пригляделась и съела прямо с земли. Петрович даже головой в знак одобрения тряхнул; потом схватил сам здорового червяка, подбросил, перехватил клювом поудобнее и проглотил: «Вот, мол, как по-нашему». Но сорока, видно, поняла, в чем дело, — прыгает возле него да поклевывает. Начал и петух червей подбирать. Так наперегонки друг перед другом стараются — кто скорее. Вмиг всех червей склевали.

С тех пор сороку кормить из рук больше не приходилось. В один раз ее Петрович выучил с едой управляться. А уж как он это ей объяснил, я и сам не знаю.

БЕЛАЯ ШУБКА

В ту зиму снег долго не выпадал. Реки и озера давно льдом покрылись, а снега все нет и нет.

Зимний лес без снега казался хмурым, унылым. Все листья с деревьев давно опали, перелетные птицы улетели на юг, нигде не пискнет ни одна птичка; только холодный ветер посвистывает среди голых обледенелых сучьев.

Шел я как-то с ребятами по лесу, возвращались мы из соседней деревни. Вышли на лесную поляну. Вдруг видим — посреди поляны над большим кустом вороны кружат. Каркают, летают вокруг него, то вверх взлетят, то на землю сядут. Наверное, думаю, они там какую-то еду себе нашли.

Стали ближе подходить. Заметили нас вороны — одни в сторону отлетели, по деревьям расселись, а другие и улетать не хотят, так над головой и кружат.

Подошли мы к кусту, смотрим — что-то под ним белеет, а что — сквозь частые ветки и не разберем.

Раздвинул я ветки, гляжу — заяц, белый-белый как снег. Забился под самый куст, прижался к земле, лежит не шевельнется. Кругом все серое — и земля и опавшие листья, а заяц среди них так и белеет.

Вот почему он воронам на глаза попался — оделся в белую шубку, а снега-то нет, значит, и спря-

таться ему, белому, негде. Дай-ка попробуем его живьем поймать.

Просунул я руку под ветки, тихонько, осторожно, да сразу цоп его за уши — и вытащил из-под куста!

Бьется заяц в руках, вырваться хочет. Только смотрим — одна ножка у него как-то странно болтается. Тронули ее, а она переломана! Значит, сильно его вороны потрепали. Не приди мы вовремя, пожалуй, и совсем бы забили.

Принес я зайца домой. Папа достал из аптечки бинт, вату, забинтовал зайцу сломанную ножку и посадил в ящик. Мама положила туда сена, моркови, мисочку с водой поставила. Так у нас зайка и остался жить. Целый месяц прожил. Ножка у него совсем срослась, он даже из ящика выскакивать начал и меня вовсе не боялся. Выскочит, побегает по комнате, а как зайдет ко мне кто-нибудь из ребят, под кровать спрячется.

За это время, пока заяц у нас дома жил, и снег выпал, белый, пушистый, как зайкина шубка. В нем зайцу легко прятаться. В снегу не скоро его заметишь.

— Ну, теперь можно его и обратно в лес выпустить, — сказал нам однажды папа.

Так мы и сделали — отнесли зайца в ближайший лесок, попрощались с ним, да и выпустили на волю.

Утро было тихое, накануне ночью насыпало много снега. Лес сделался белый, мохнатый.

В один миг наш зайка в заснеженных кустах исчез.

Вот когда ему белая шубка пригодилась!

АИСТЯТА

Один год мы прожили на Украине, в небольшой станице, среди сплошных вишневых садов.

Неподалеку от нашего дома росло старое дерево. И вот однажды ранней весной на него прилетел и уселся аист. Он долго что-то осматривал, неуклюже переступая на своих длинных ногах по толстому суку. Потом улетел.

А на следующее утро мы увидели, что на дереве хлопотали уже два аиста. Они устраивали гнездо.

Скоро гнездо было готово. Аистиха снесла туда яйца и стала их насиживать. А аист то улета́л за кормом на болото, то стоял около гнезда на суке, поджав под себя одну ногу. Так, на одной ноге, он мог простоять очень долго, даже мог немного вздремнуть.

Когда в гнезде вывелись аистята, для старых аистов начались большие хлопоты. Птенцы были очень прожорливы. Они целый день требовали еды, и аисты-родители по очереди с утра до вечера таскали им из болота лягушек, рыбешек, ужей.

Пока один из аистов летал за кормом, другой стоял на краю гнезда — караулил птенцов. Как только он замечал подлетевшего к гнезду второго аиста, он закидывал голову на спину и громко трещал клювом, словно трещоткой. Ведь аисты кричать не умеют и приветствуют друг друга, часто-часто щелкая клювом.

Прилетевший отдавал добычу детям и садился отдыхать у гнезда, а другой аист тут же улета́л охотиться за лягушками на болото.

Так аисты целые дни по очереди кормили птенцов. А когда те подросли и стали еще прожорливее, тут уж оба родителя начали вместе летать и добывать детям корм.

Прошло еще недели полторы, и вдруг один из аистов-родителей исчез. Что с ним случилось, неизвестно: может, его убили, а может, и сам от чего-нибудь погиб.

Вот когда настала трудная пора для оставшегося аиста! Птенцы стали уже совсем большими. Их было три, и они требовали очень много еды.

Как только начинало светать, аист уже спешил на болото за добычей, приносил ее, совал в рот одному из птенцов и, не отдыхая ни минуты, летел обратно на охоту.

Так он трудился до позднего вечера.

Нам было очень жаль бедную птицу, но мы не знали, чем ей помочь.

Один раз мы пошли ловить на речку рыбу. Возвращаемся домой и видим, что все три аистенка тянут из гнезда свои длинные шеи, открывают клювы и просят есть. А аиста около гнезда нет. Значит, на болоте лягушек ловит.

— Что, если попробовать их рыбой покормить? — предложил мой товарищ.

В тот же миг мы залезли на дерево. Увидев нас, аистята заволновались, засуетились, чуть из гнезда не попадали.

Но вот один из них заметил в руках у меня рыбешку. Аистенок потянулся к ней, схватил клювом и проглотил. Другие сейчас же последовали его примеру.

Мы отдали аистятam всю нашу рыбу, слезли с дерева и тут только увидели старого аиста. Он поспешно подлетел к гнезду и стал беспокойно осматривать, все ли там в порядке.

С этих пор мы каждый день начали кормить аистят: ловили специально для них рыбок и лягушек.

Аистята очень быстро смекнули, в чем дело. Как только мы влезали на дерево, они все разом тянули к нам из гнезда свои длинные шеи и раскрывали рты, прося, чтобы мы их накормили.

Наконец наши питомцы совсем выросли. Они покрылись перьями и начали вылетать из гнезда. И тут нам от них просто житья не стало — аистята не давали нам проходу. Стоило только показаться на дворе, как они слетали с гнезда и опрометью бросались к нам, требуя еды.

А взрослый аист как будто понял, что и без него дело обойдется: все реже и реже приносил детям корм. Большую часть дня он или бродил по болоту, поедая лягушек, или дремал на дереве возле гнезда. Аист дремал на дереве, а в это время аистята гонялись за нами по двору, требуя еды.

Однажды они увязались с нами на болото. Там было много лягушек. Аистята начали ловить их сами и вовсе забыли про нас. С этого дня они каждое утро стали летать на болото — охотиться за лягушками.

Лето кончалось. Все аисты собирались в стаи, готовясь к отлету. Наши тоже перестали ночевать на дереве у гнезда — наверное, примкнули к какой-нибудь стае, и мы уже начали забывать о своих питомцах.

Но вот как-то раз идем мы с рыбной ловли домой. Смотрим — по лугу разгуливает стая аистов. Заметили нас, насторожились — сейчас полетят. Вдруг ви-

дим — от стаи отделяются три аиста и направляются прямо к нам.

— Да это же наши аистята! — обрадовались мы и начали манить их рыбой.

И вот эти большие дикие птицы подбежали к нам, захлопали крыльями, засуетились — так и хватают рыбу из рук!

Схватит рыбешку клювом, подбросит вверх, перехватит поудобнее и проглотит, а потом от удовольствия даже голову на спину закинет и клювом защелкает.

Наши аисты рыбу из рук едят, а вся стая издали смотрит. Шеи вытянули, глядят — ничего, видно, понять не могут.

Наелись аистята, клювами в благодарность похлопали и обратно к стае вернулись. А мы домой пошли.

Больше мы их не видели. Холодно стало. Улетели они на теплый юг.

ЗАБОТЛИВАЯ МАМАША

Как-то раз пастухи поймали лисенка и принесли его нам. Мы посадили зверька в пустой амбар.

Лисенок был еще маленький, весь серый, мордочка темная, а хвост на конце беленький. Зверек забился в дальний угол амбара и испуганно озирался по сторонам. От страха он даже не кусался, когда мы его гладили, а только прижимал уши и весь дрожал.

Мама налила ему в мисочку молока и поставила тут же рядом. Но напуганный зверек молоко пить не стал.

Тогда папа сказал, что лисенка надо оставить в покое — пусть оглядится, освоится на новом месте.

Мне очень не хотелось уходить, но папа запер дверь, и мы ушли домой. Был уже вечер, скоро все легли спать.

Ночью я проснулся. Слышу, где-то совсем рядом твоякает и скулит щенок. Откуда же, думаю, он взялся? Выглянул в окно. На дворе уже светало. Из окна был виден амбар, где находился лисенок. Оказывается, это он так по-щенячьи скулил.

Прямо за амбаром начинался лес.

Вдруг я увидел, что из кустов выскочила лисица, остановилась, прислушалась и крадучись подбежала к амбару. Сразу тявканье в нем прекратилось и вместо него послышался радостный визг.

Я потихоньку разбудил маму и папу, и мы все вместе стали глядеть в окно.

Лисица бегала вокруг амбара, пробовала подрыть землю под ним. Но там был крепкий каменный фундамент, и лиса ничего не могла сделать. Вскоре она убежала в кусты, а лисенок опять начал скулить.

Я хотел караулить лисицу всю ночь, но папа сказал, что она больше не придет, и велел ложиться спать.

Проснулся я поздно и, одевшись, прежде всего поспешил навестить лисенка. Что такое?.. На пороге возле самой двери лежал мертвый зайчонок.

Я скорее побежал к папе и привел его с собой.

— Вот так штука! — сказал папа, увидя зайчонка. — Это, значит, мать-лиса еще раз приходила к лисенку и принесла ему еду. Попасть внутрь она не смогла, так и оставила снаружи. Ну и заботливая мамаша!

Весь день я вертелся около амбара, заглядывал в щелки и два раза ходил с мамой кормить лисенка. А вечером я никак не мог заснуть, все вскакивал с постели и смотрел в окно — не пришла ли лисица.

Наконец мама рассердилась и завесила окно темной занавеской.

Зато утром я поднялся чем свет и сразу побежал к амбару. На этот раз на пороге лежал уже не зайчонок, а задушенная соседская курица. Видно, лиса ночью опять приходила проведать лисенка. Добычу в лесу ей поймать для него не удалось, вот она и залезла к соседям в курятник, задушила курицу и принесла своему детенышу.

За курицу папе пришлось заплатить, к тому же здорово досталось от соседей.

— Убирайте лисенка куда хотите, — кричали они, — а то с ним лиса всю птицу у нас переведет!

Делать было нечего, пришлось папе посадить лисенка в мешок и отнести назад в лес, к лисьим норам.

С тех пор лиса в деревню больше не приходила.

ДОГАДЛИВАЯ ПИЧУЖКА

В детстве у нас было так заведено: как наступит осень, мы и начинаем ловить птиц для своего живого уголка. Много наловим и рассадим по клеткам.

А весной, только пригреет солнце, побегут по дорогам веселые ручьи, — тут мы вынесем все клетки во двор, раскроем дверцы и выпустим птичек на свободу: летите в рощи, в леса, вейте гнезда, выводите птенцов, а осенью опять возвращайтесь к нам на зимнюю квартиру.

Разные птички у нас в клетках зимовали: синицы, щеглы, снегири. Ловили мы их западней. Это небольшая клеточка, только дверца у нее устроена, как у мышеловки.

Вот мы, бывало, откроем западню, а к входу палочку-сторожок приставим, чтобы он не давал дверце захлопываться. Внутри конопляных семян насыпем и повесим западню в саду, на сучке дерева.

Прилетят в сад какие-нибудь птички, сядут на дерево, где западня висит, и увидят в ней зернышки. Подлетят к западне, полезут внутрь, чтобы зерна клевать, сторожок зацепят — дверца за птичкой и захлопнется.

Один раз попалась нам в западню синица, да только какая-то бесхвостая. Взяли мы ее и выпустили. А через несколько дней она опять попалась. Мы ее снова выпустили. Так она за неделю несколько раз в нашей западне побывала. Прыгает, бывало, внутри, зернышки поклевывает, будто она на воле, а не в запертой клетке. Такая уж, видно, смелая! Может, раньше где-нибудь в клетке жила, вот и привыкла. И презабавная была пичужка: без хвостика, совсем кругленькая, как пушистый шарик. Важно так, бывало, в клетке сидит, словно у себя дома.

Мы уж и не знали, что с ней делать. Как в сад ни придем — западня закрыта, а в ней бесхвостая синица сидит, зерна клюет. Не дает нам других птичек ловить, да и только.

А потом попадаться вдруг перестала. Мы думали, не случилось ли с ней что-нибудь, даже пожалели, что ее к себе домой зимовать не взяли.

Только однажды утром приходим в сад, смотрим, а наша бесхвостая синичка около западни с ветки на

ветку перелетает. Затем на крышку западни уселась, с крышки на дверцу, а с дверцы прыг прямо в западню, да так ловко, что сторожок и не задела.

Стоим мы под деревом и смотрим, что же дальше будет. Наклевалась синичка досыта конопли, прыг из западни на дверцу и опять сторожок не задела. Посидела на дверце, почистила клювик, отряхнулась и улетела. Вот ведь какая догадливая: значит, смекнула, как ей в западню лазить, чтобы дверцу не захлопывать. Так всю зиму у нас и прокормилась.

УШАН

Охотиться я начал очень рано. Когда мне исполнилось двенадцать лет, папа подарил мне ружье и стал брать с собой в лес и на болото.

Вот как-то осенью возвращались мы с охоты. Слез я с телеги и пошел рядом — ноги размять. А проезжали мы через лесок. Вся дорога была завалена желтыми листьями: они лежали толстым пушистым слоем, шуршали под ногами. Так я и шел, глядя под ноги, и гнал перед собою большую пушистую волну листьев. Вдруг вижу — на дороге меж листьев что-то темнеет. Нагнулся, смотрю — зайчонок, да такой маленький! Я так и ахнул: ведь только что здесь телега проехала, как же она зайчонка не раздавила?

— Ну, — говорю, — видно, такой ты, зайка, счастливый!

Взял я его на руки, он съежился на ладони, сидит дрожит, а бежать и не собирается. «Возьму-ка, — думаю, — его к себе домой, может, он у меня и выживет, а то все равно погибнет — уж очень поздно родился. Ведь скоро зима настанет, замерзнет, бедняга, или попадет лисе на завтрак».

Настелил я в охотничью сумку листьев, посадил туда зайчонка и привез домой. Дома мама налила в блюдечко молока, предложила зайке. Только он пить не стал — мал еще, не умеет. Тогда мы взяли пузырек, вылили туда молоко, надели на пузырек соску и дали зайчонку. Он понюхал соску, поводит усами. Мама выдавила из соски каплю молока, помазала зайчонку нос. Он облизнулся, приоткрыл рот,

а мы ему туда кончик соски и всунули. Зайчонок зачмокал, засосал да так весь пузырек и выпил.

Прижился у нас заяц. Прыгает по комнатам, никого не боится.

Прошел месяц, другой, третий... Вырос наш заяц, совсем большой стал, и прозвали мы его Ушан. Жить он устроился под печкой. Как испугается чего-нибудь — прямо туда.

Кроме Ушана, у нас жил старый кот Иваныч и охотничья собака Джек.

Иваныч с Джеком были самые большие приятели. Вместе ели из одной чашки, даже спали вместе. У Джека лежала на полу подстилка. Зимой, когда в доме становилось холодно, придет, бывало, Иваныч и пристроится к Джеку на подстилку, свернется клубочком. Джек сейчас же к нему: уткнется своим носом Иванычу прямо в живот и греет морду, а сам дышит тепло-тепло, так что Иваныч тоже доволен.

Когда в доме появился заяц, Иваныч на него не обратил никакого внимания, а Джек сначала немножко побеспокоился, но скоро тоже привык; а потом все трое очень подружились.

Особенно хорошо бывало по вечерам, когда затопят печку. Сейчас же все они к огоньку — греться. Улягутся близко-близко друг к другу и дремлют. В комнате темно, только красные отблески от печки по стенам бегают, а за ними черные тени, и от этого кажется, что все в комнате движется: и столы и стулья будто живые. Дрова в печке горят-горят да вдруг как треснут — и вылетит золотой уголек. Тут друзья от печки — врассыпную. Отскочат и смотрят друг на друга, точно спрашивая: «Что случилось?» Потом понемножку успокоятся — и опять к огоньку.

А то затеют игру. Начиналось это всегда так. Вот лежат они все трое вместе, дремлют. Вдруг Иваныч Ушана легонько лапой хватя! Раз тронет, другой... Заяц лежит-лежит, да вдруг как вскочит — и бежать, а Иваныч — за ним, а Джек за Иванычем, и так друг за дружкой по всем комнатам. А как зайцу надоест, он марш под печку, вот и игре конец.

А перед тем как улечься спать, Ушан каждый раз, бывало, следы свои запутывал. На воле заяц всегда так делает: начинает бегать в разные стороны — то направо побежит, то налево. Если на снегу,

посмотреть заячий след, так и не разберешь, куда заяц ушел. Недаром такие следы называются «заячьи петли». Наткнется охотничья собака на заячьи петли — пока разбирается, ходит по следу туда-сюда, а заяц уже давно услышал ее и убежал.

Вот и наш Ушан каждый день, прежде чем залезть под печку, старался следы свои запутать. Бывало, прыгает взад и вперед по комнате, выделяет свои заячьи петли, а тут же на ковре дремлет охотничья собака Джек и посматривает на него одним глазом, будто смеется над глупым зайцем.

Так прожил у нас Ушан всю зиму. Настала весна, дружная, теплая... Не успели оглянуться, как уже зазеленела трава. Решили мы Ушана в лес, на свободу, выпустить. Посадил я его в корзинку, пошел в лес и Джека с собой взял — пусть проводит приятеля. Хотел и Иваныча в корзинку посадить, да уж очень тяжело нести; так и оставил дома.

Пришли мы в лес, вынул я Ушана из корзинки, пустил на траву. А он и не знает, что дальше делать, не бежит, только ушами шевелит. Тут я хлопнул в ладоши. Заяц прыг-прыг! — и поскакал к кустам. Джек увидел — скорей догонять.

А Ушан все в лес не бежит, скачет вокруг куста, и Джек за ним так и носится, будто дома.

«Вот, — думаю, — по кустам-то лучше друг за другом гоняться, чем по комнатам».

Я на зайца кепкой махнул, кричу:

— Беги в лес, косой! Чего здесь вертишься?

Ушан испугался, поскакал в лес, и Джек за ним.

Подождал я — Джек не возвращается. Только вдруг слышу в лесу заячий крик, еще и еще. Я на крик бросился, добежал, гляжу — а уж Джек держит в зубах Ушана.

Я — на помощь:

— Брось! Что ты делаешь? Ведь это наш Ушан!

А Джек смотрит на меня и хвостом виляет, будто хочет сказать: «Я же тебе зверя поймал, а ты на меня кричишь».

Видно, не узнал он в лесу Ушана, да и схватил, как обыкновенного дикого зайца.

Отнял я Ушана, посадил на траву, а сам Джека за ошейник держу, не пускаю.

Тут и зайка, наверное, смекнул, что в лесу с собакой не поиграешь. Приложил уши — и марш в кусты. Только мы его с Джеком и видели.

ЗА ЛISOЙ

Я сидел за столом и набивал патроны, когда в комнату вошел мой приятель, художник.

— Здорово, тетка! Ты это куда собрался? — спросил он.

— Хочу на охоту за лисой поехать.

— Отлично! — сказал приятель. — У меня как раз свободный день, я с тобой тоже поеду. Вот и встретим в лесу начало зимы!

Это известие, признаюсь, меня не очень обрадовало. Дело в том, что мой приятель совсем не охотник и даже в известной степени противник охоты. «Не понимаю удовольствия стрелять зверей или птиц, — часто говорит он, — гораздо интереснее наблюдать их, а потом нарисовать». С точки зрения художника он, наверное, прав, но мы, охотники, совсем не прочь и подстрелить дичину. Вот поэтому я и не очень обрадовался такому товарищу в предстоящей охоте.

Но приятель, видно, не обратил на это никакого внимания. Он ушел домой переодеться и часа через два уже был у меня, одетый в теплую куртку, ушанку и валенки. Я тоже переоделся, взял ружье, и мы отправились на вокзал.

Была уже глубокая ночь, когда мы добрались до деревни, где жил знакомый старичок охотник дядя Федя. Хозяин постелил нам постель, и мы улеглись, чтобы отдохнуть немного перед охотой.

Отдыхать пришлось недолго. Скоро в окне забелел мутный зимний рассвет. Старик встал, поставил самовар. Мы все выпили по стакану чаю, оделись, взяли заплечные мешки с флажками и отправились на охоту.

Утро было чудесное, именно начало зимы. Свежий, пушистый снег укрыл всю землю. Лес был мохнатый, белый, а над ним неярко синело прозрачное зимнее небо.

Мы шли по тропинке через мелколесье. Кое-где по сторонам возвышались старые сосны, сплошь усыпанные снегом. На синеватом фоне неба они казались совсем белыми, будто вылитыми из гипса.

За мелколесьем начались овражки, поросшие кустарником, и густая, непроходимая чаща.

Мы внимательно осматривали на снегу свежие ночные следы зверей, видели несколько заячьих и беличьих, а лисьего следа все не попадалось.

Но вот наконец и он: ровный, лапка в лапку, словно выведенный по нитке, тянется от опушки прямо в чащу густых кустов.

— Подождите меня тут,— сказал дядя Федя, снимая с плеч свой мешок с флажками и кладя на землю.— Я мигом эту чащу обойду и погляжу, есть ли выходной след. Может, лиса здесь и улеглась на дневку.

Мы тоже сняли свои мешки и уселись на них. Сидели молча, боясь разговором спугнуть чуткого зверя.

Вскоре старик показался с другой стороны. Он почти бежал.

— Нет выходного. Тут в чаще и лежит,— зашептал он, быстро развязывая мешок с флажками.— Становись здесь у елочки и карауль,— сказал он мне,— а ты со мной иди, я тебя у полянки поставлю,— обратился он к приятелю.— На чистом месте ты ее хорошо разглядишь.

Дядя Федя вынул из мешка веревку, на которой были нашиты красные лоскуты — флажки, и начал ее растягивать, цепляя за ветки кустов. Он шел все дальше и дальше, опоясывая лесную чащу красной гирляндой. А мой приятель шел следом за ним, помогая развешивать флажки.

«Только бы они как-нибудь не спугнули лису раньше времени, успели бы обтянуть флажками всю чащу! — думал я.— Тогда уж лиса не уйдет. Куда ни сунется — всюду наткнется на флажки». Так и будет бегать по чаще, отыскивая выход из круга, пока не наскочит на охотника. Нужно только стоять очень тихо, не шевелиться, чтобы зверь тебя не заметил.

Я стоял у елки и с нетерпением ждал, когда дядя Федя затянет флажки.

Наконец он вновь показался из кустов и весело подмигнул мне:

— Затянул, теперь не уйдет!

Он привязал веревку с флажками к кустам, шагах в двадцати позади меня. Круг был замкнут. Я очутился внутри него.

— Сейчас зайду с другой стороны и буду ее легонько на вас попугивать, а ты стой, не шевелись. Она прямо на тебя и выскочит.

Дядя Федя скрылся в лесу. Скоро где-то вдали слышался его негромкий окрик: «Ау-ау!..»

Я замер на месте, зорко вглядываясь в лесную чащу. Охота началась. Теперь лиса, испуганная человеческим голосом, уж, верно, вскочила с лежки и мечется по лесу, стараясь найти выход из флажкового круга. Каждую секунду она может проскочить мимо меня.

Вдруг что-то ярко-желтое мелькнуло среди белых кустов. Лиса! Она неслась по чаще легким галопом. Я вскинул ружье, но зверь уже вновь скрылся. Лиса направилась в сторону той полянки, где стоял мой приятель.

Я перевел дух и опустил ружье: не беда, деваться ей некуда, сейчас вернется назад.

Но прошло минут пять-десять, дядя Федя, слегка покрикивая, подходил к нам по лесу ближе и ближе, а лиса все не выскакивала. Да куда же она девалась?

Наконец впереди из-за кустов показалась засыпанная снегом фигура старика. Он подошел ко мне:

— Где же лиса?

— Не знаю. Один раз проскочила вон там, мимо елок, пошла к поляне — и конец.

Дядя Федя в недоумении пожал плечами:

— Что за история! Мимо меня тоже не проходила, я хорошо глядел. Может, впереди где-нибудь затаилась, залезла под валежину и сидит? Пойду-ка по следу, разберусь.

Старик опять скрылся в лесу, а я вновь принялся ждать. Неожиданно из-за овражка с поляны послышался громкий крик. Дядя Федя кого-то ругательски ругал на весь лес.

Я поспешил на его голос. Перебрался через овражек, вышел на поляну и вижу — на самом краю на

пеньке сидит мой приятель и что-то рисует в блокнот. А перед ним стоит дядя Федя, весь красный, шапка на затылке, руками размахивает, кричит. Я к нему:

— Что случилось?

— А вот полюбуйся, что твой дружок здесь натворил!

Я поглядел на полянку. Что такое? Она и не затянута флажками. Флажки разорваны и замотаны на кустах с двух сторон по краям полянки, а прямо посередине через нее идет свежий лисий след. Значит, лиса здесь и вышла из круга.

— Почему же вы полянку не затянули? — изумился я.

— Как — не затянули? — в бешенстве закричал дядя Федя. — Это вот твой дружок ей ворота открыл.

— Зачем вы так кричите? — добродушно, как ни в чем не бывало обратился к нему мой приятель. — Я же сказал, что вину свою искуплю, привезу из Москвы вам не одну, а две лисьи шкурки, да еще выделанные, совсем готовые.

— Ну вот и поговори с ним! — махнул рукой дядя Федя. — Разве это охота?

— Объясни пожалуйста, в чем тут дело? — спросил я товарища.

— А вот в чем, — охотно ответил он. — Понимаешь, стою я здесь. Впереди полянка, вся белая, так и искрится на солнце. А за полянкой, видишь там — зеленые елочки из-под снега выглядывают. Вот бы, думаю, по этой полянке да лиса проскочила! Ты понимаешь — рыжая, на белом снегу, на фоне этих елочек... Какой сюжет для рисунка, а?.. Ну, я ей выход на полянку и устроил. Забыть не могу, как она по ней пронеслась. Хвост на сторону, трубой. Так перед глазами и стоит. Такой, брат, рисунок будет, ты прямо ахнешь. — Приятель кивнул в сторону дяди Феи: — А он вот понять не хочет, сердится, кричит. Я ж у вас в долгу не останусь, две лисьи шкурки вместо одной привезу.

— Нет, ты мне шкурки из Москвы не вези, у меня своих хватит, — сурово ответил ему старик, принимаясь сматывать флажки. — А вот что слушай: больше не смей ко мне и на глаза показываться... — Он помолчал и вдруг, лукаво улыбнувшись, добавил: — Ежели ты мне настоящую картину всей этой

охоты не привезешь. Чтобы и снег был, и елочки, и лиса на снегу... Все, как ты здесь сейчас рассказывал.

— Вот это дело! — радостно воскликнул приятель. Он вскочил с пенька и обнял старого охотника. — Привезу, дедушка! Уж для тебя от всей души постараюсь. Вот видишь, — сказал он мне, — дедушка, значит, тоже в душе художник. Ему не шкурка нужна, а сама лиса!

— Да чтоб на снегу как живая была! — добавил дядя Федя.

РЕЧНОЙ ВОЛК

Есть один интересный способ ловли хищной рыбы: щуки, окуня, судака... Это — ловля на кружки.

Кружок делается из сухого дерева или из пробки. Сверху он окрашен в красный цвет, а снизу — в белый. Посредине кружка вставлена палочка. Через нее перекидывается намотанная на кружок прочная леска, а на конце привязывают грузило и тройной крючок. На тонкой проволоке, чтобы попавшаяся хищная рыба не могла перекусить леску.

Ловля на кружки очень увлекательна, особенно там, где много крупной рыбы. Поэтому я, отправляясь в свою летнюю поездку в Карелию, захватил с собой в числе прочих рыболовных принадлежностей и десяток кружков.

Я много наслышался о рыбных богатствах карельских озер, мне не терпелось поскорее самому половить там рыбу. И вот наконец я на месте.

Переночевав в маленькой деревушке на самом берегу озера, рано утром я отправился на рыбалку.

Старичок хозяин, у которого я ночевал, одолжил мне свою лодку. Я положил в нее кружки, подсачек, ведерко с заранее наловленными живцами, потом взял весла и отплыл от берега.

Утро было теплое, серенькое. Дул легкий ветерок, подергивая поверхность озера серебристой рябью. А у самых берегов вода была совершенно спокойная и в ней отражались угрюмые скалы, местами поросшие мхом, и чахлые, полужасохшие сосны.

Сизые чайки носились над озером. Порой они падали в воду, схватывали мелких рыбешек и вновь взлетали с добычей, роняя в озеро частые капли воды.

Я плыл недалеко от берега, отыскивая место, о котором говорил мне хозяин лодки.

Вот и заливчик. В этом месте скалы и лес отступают от озера, и далеко в глубь берега вдается узкая полоса воды, а по сторонам густой зеленой щеткой топорщатся камыши.

Я вынул из сумки глубомер — гирьку на длинной бечевке — и измерил глубину: восемь с половиной метров. Немного отплыл и измерил еще несколько раз. Так я нащупал края подводной ямы. Потом заплыл с таким расчетом, чтобы ветер гнал мои кружки через яму, насадил на крючки наживку и начал ловить.

Ветер дул вдоль берега, и мои кружки, словно стайка красных птиц, поплыли мимо зеленых зарослей камыша.

Начало ловли — хорошие минуты для рыбака. Что-то даст сегодняшнее утро?

Слегка направляя веслами лодку, я медленно плыл вслед за кружками. Было совсем тихо, только изредка покрикивали летавшие над озером чайки.

Неожиданно где-то невдалеке от меня послышался сильный всплеск воды, потом отчаянный утиный крик, и из камышей выскочила, хлопая крыльями, дикая утка, а вслед за ней целый выводок утят. Они, как темные пушистые шарики, катились по воде следом за матерью.

Выбравшись на чистую воду, старая утка поплыла вдоль заливчика, испуганно оглядываясь и тревожными криками подзывая к себе утят.

Я сидел неподвижно, чтобы не напугать утиное семейство, пока оно вновь не скрылось в камышовых зарослях по другую сторону заливчика.

Мне очень хотелось узнать, что напугало утку-мать. Наверное, какой-нибудь зверь подобрался к утятам. Но кто же именно? Лиса не могла забраться так глубоко в воду, да и было бы слышно, если бы она пробиралась среди камышей. Может, выдра?

Я подождал еще немного, не покажется ли кто-нибудь на чистую воду. Но никто не показывался, и я вновь занялся своими кружками.

Вдруг один из них прямо на моих глазах перевер-

нулся белой стороной вверх и, как волчок, закружился в воде. Значит, рыба схватила живца и потащила в глубину, быстро разматывая леску.

Стараясь не плескать веслами, чтобы не спугнуть рыбу, я повел лодку к перевернувшемуся кружку. А он, то наклоняясь набок, то погружаясь в воду, уходил от меня. Рыба тянула снасть прочь от берега. Но вот я уже настигаю бегущий по воде кружок. Он уже у самой лодки. Я бросаю весла, быстро перегибаюсь через борт, хватаю кружок, потом леску. Резко дергаю, чтобы подсечь рыбу, и чувствую, как кто-то невидимый в глубине вырывает ее у меня из рук.

Я перехватил леску поудобнее и стал слегка подтягивать. Но рыба не поддавалась. Она тянула так сильно, что леска резала руку. «Ого, даже лодку тащит! Значит, хороша попалась!» От волнения я едва переводил дух, напрягая все силы, чтобы не упустить крупную добычу.

Туго натянутая леска впивалась в воду и чертила по ней своим концом. Рыба то тянула прочь от берега, то поворачивала к камышам. Я старался не дать ей затащить леску под лодку, а то зацепит за дно и сразу оборвет.

Постепенно рыба стала уставать. Я начал подтягивать ее к лодке. И вот не далее двух-трех метров от борта из глубины показалось что-то большое, темное, словно я поднимал со дна затонувшее бревно. «Щука! Какая огромная! Разве такую вытянешь?»

У самого борта рыба точно опомнилась. Она шархнулась так, что закачалась лодка. Я едва успел, распуская леску, дать ей ходу.

Отпустив щуку метров на двадцать, я стал вновь придерживать ее и, приостановив, опять потащил к лодке. Прошло не менее часа напряженной борьбы.

Наконец, подтянув добычу к самому борту, я опустил в воду острый багор и подвел его к рыбе.

Рывок — и багор вонзился щуке под самые жабры. Она отчаянно забилась, обдавая меня с ног до головы водой. Я изо всех сил потянул за багор и едва втащил в лодку тяжелую рыбу. Борьба закончилась. Пойманная щука лежала на дне лодки, изредка открывая свою страшную зубастую пасть. Ну и рыба! В ее пасть свободно входит ступня моего сапога. А зубы-то, зубы какие огромные! Как у хорошей дворовой собаки.

И острые, как шило. Наверное, такая «рыбка» весит не меньше двадцати килограммов. А сколько ей может быть лет — полвека или побольше? Вся она была темно-бронзовая, с зеленоватым отливом. Настоящее водяное чудовище — гроза и бич всего живого, что только плавает в воде.

После такой удачи мне в это утро ловить рыбу больше уже не хотелось. Лучше поскорее вернуться в деревню, показать всем свою добычу, сфотографировать ее, рассказать, как поймал, и при этом, хотя в слабой степени, еще раз мысленно пережить все волнующие минуты редкой охоты.

Приплыв домой, я первым делом взвесил на колхозных весах пойманную щуку. В ней оказалось двадцать два килограмма.

Потом я рассказал по порядку все как было собравшимся приятелям-рыбакам.

— Надо ее выпотрошить, а то жарко, как бы не испортилась, — сказал мой хозяин. — Посмотрим, что у нее в желудке, чем сегодня позавтракала.

Он начал потрошить щуку, вынул желудок и разрезал его.

— Ба-ба-ба, да ведь она сегодня не рыбу кушала! — промолвил он, вынимая из рыбьего желудка что-то покрытое не то слипшейся шерстью, не то пухом. — Утенок... А вот и еще один... Ах разбойница! Значит, она утят на воде ловила.

Тут я и вспомнил о всплеске воды в камышах и о дикой утке, выскочившей оттуда со своим семейством. Значит, вот кто охотился за утятами!

Я поглядел на щуку, на ее огромную пасть. Да, такой пастью можно схватить не только утенка, но и взрослую утку. Сколько живого переловит этот прожорливый водяной хищник! Недаром щука зовется «речной волк».

ДЛИННОНОСЫЕ РЫБОЛОВЫ

Хорошее занятие рыбная ловля. Иной раз хоть и ничего не поймаешь, зато посидишь на берегу, на солнышке да понаблюдаешь, что вокруг творится. Только одно условие: сидеть нужно тихо.

Прошлым летом пошел я на речку за окунями; рыба никак не клюет. Стой, думаю, мы тебя перехитрим. Не хочешь на червяка браться, другую приманку предложим.

Снял я свою соломенную шляпу и тут же на отмели наловил ею, как сачком, мальков. А вот хранить мне их не в чем — ведерко-то я дома забыл. Не беда.

Выкопал в песке у самой реки ямку, вода в нее сразу же набралась, и пустил туда рыбок. Отличный «аквариум» получился.

Двух мальков вместо червей на крючки насадил. Попробуем: не будет ли окунь на эту насадку браться. Опять жду, и опять ничего не клюет. Я даже слегка задремал под кустом.

Вдруг вижу — летит над речкой зимородок. Птица такая; немножко побольше воробья. Очень красивая птица: брюшко оранжевое, спинка ярко-зеленая, а нос длиннющий, прямой, как палочка. Им зимородок без промаха мелких рыбешек хватает.

Подлетел зимородок к моим удочкам и уселся прямо на удилище. Меня и не замечает; сидит, в воду поглядывает.

Потом кинулся вниз, да не в речку, а прямо в мой «аквариум», выхватил оттуда рыбешку и опять на удилище сел. Проглотил, отряхнулся, второй раз туда же — нырь. Поймал другую рыбку, есть не стал, а улетел с нею куда-то.

Эх, жалко, пусть бы еще половил, уж очень он занятный. А мальки мне все равно ни к чему и на них окуни не берутся.

Только я об этом подумал — гляжу, а мой длинноносый рыбак уж опять тут как тут, да не один, и второй следом за ним явился — птенец; еще как следует летать не умеет.

Уселись оба рядышком на удилище. Потом «старый рыбак» нырь в мой «аквариум», вытащил рыбку и к птенцу. Тот рот широко разинул: давай, мол, еду. А еду давать нетрудно, она тут же вот рядом, только бери.

Сунул старый зимородок птенцу в рот пару рыбешек. Смотрю, и малыш тоже начал вниз поглядывать. Глядел, глядел да как бросится! Цоп клювом рыбку, взлетел на удилище, голову вверх запрокинул, с таким аппетитом свою первую добычу глотает.

Теперь ему нечего ждать, когда его кто покормит — сам научился рыбу ловить. Тут уж они вдвоем взялись за моих мальков, в один миг всех переловили.

А я ни с чем остался, ни одного окуня не поймал. Не беда, я доволен: разве часто увидишь такую картинку?

НА РАЗЛИВЕ

Весеннее половодье было в самом разгаре. Кругом разлилась река, затопила луга, болота и даже прибрежный лес.

Среди этого моря воды, будто острова, темнели холмы, поросшие кустами и низкорослым корявым дубняком.

Ярко светило солнце. Над водою кружились чайки, изредка проносились утки. Вытянув длинные шеи и быстро махая крыльями, они летели к берегам в тихие, спокойные заводи.

Ни одна из них не подлетала на выстрел, и я только напрасно держал наготове ружье.

Мой приятель Иван Кузьмич, старый охотник, сидел на корме и, ловко подгребая одним веслом, направлял лодку к небольшому островку. Там мы хотели устроить шалаши и на заре покараулить селезней.

Вода прибывала. Это можно было заметить по усилившемуся течению и по тому, что мимо нас по разливу все чаще и чаще проплывали сучки, ветки и охапки сухого прошлогоднего сена.

— Погляди, что с птицей-то делается, — сказал мне Иван Кузьмич.

Тут я только заметил, что количество птиц над разливом значительно увеличилось. Помимо чаек над водой и в особенности около мелких островков, исчезавших прямо на наших глазах, летали и кружились вороны, коршуны, сарычи.

Поминутно то одна, то другая птица камнем бросалась в воду и взлетала, держа пойманную добычу.

— Ну, теперь мышам карачун пришел, — пояснил мой приятель. — Вода прибывает, куда деваться? Приходится плыть, а на открытой воде не больно

схоронишься. Ишь, как хватают! Теперь птице раз-
долье.

Неожиданно Иван Кузьмич резко повернул лодку
в сторону.

— Пстой, пстой, куда ты, дурень? Утонешь
ведь! — И с этими словами он быстро опустил руку
за борт, поддел кого-то ладонью и посадил в лодку.

Ну и пассажир! На дне лодки, фыркая и отряхи-
ваясь от воды, сидел ежик.

Иван Кузьмич тронул его кончиком сапога. Еж
сейчас же сердито запыхтел и свернулся в клубок.

— Вот тебе и раз! — засмеялся товарищ. — Я же
его, можно сказать, от гибели спас, а он со мной
знаться не хочет. Ну, пыхти, пыхти, если ты такой
сердитый. — И Иван Кузьмич, не обращая больше вни-
мания на ежа, снова направил нашу лодку к наме-
ченному заранее острову.

Мы проплывали мимо полузатопленного дерева.
Взглянув на его нижние ветви, почти касавшиеся во-
ды, я сразу даже не понял, что такое на них — не то
серые прошлогодние листья, не то какие-то комочки
грязи. Да вовсе нет — это все мыши-полевки и водя-
ные крысы взобрались на сучья, спасаясь от полой
воды. В густых сучьях их не могли заметить и пер-
натые хищники.

— У-у, поганцы! — сурово проворчал Иван Кузь-
мич. — Брысь отсюда! — И он сильно стукнул веслом
по сукам.

Что тут только поднялось! Вода под деревом
будто закипела от бросившихся в нее сотен зверьков.

Мы быстро отплыли в сторону, а возле затонув-
шего дерева уже кружились вороны и другие птицы,
выхватывая из воды добычу.

— Как скоро заметили, — усмехнулся Иван Кузь-
мич. — Ну и глазищи! Вот бы нам с тобой! Ни одна
бы дичь тогда не ушла.

— А это кто же плывет? — спросил я, указывая
на движущуюся в воде темную головку зверька.

Мы догнали бойкого пловца. Заяц! Вот так исто-
рия! Я и раньше знал, что этот зверек в случае край-
ней нужды может плавать, но никогда не думал, что
он плавает так хорошо.

И все-таки вряд ли ему удалось бы благополучно
добраться до берега. Плечь предстояло еще далеко,

а главное, крылатые хищники разве дали бы ему добраться?

Заметив приближение лодки, заяц пытался от нас удрать, но быстрее плыть он уже не мог. Зверек начал шлепать по воде лапами, поднимая брызги.

Мы тут же его настигли. Я схватил косого за уши и тоже втащил в лодку.

— Ну, дед Мазай, а куда сажать будешь? — весело крикнул мой спутник.

Действительно, сажать зайца было некуда, а отпускать нельзя — он сейчас же опять прыгнет в воду.

— Ба! А сетка на что?

— Это верно.

Я опять поднял зверька за уши. Иван Кузьмич подставил сетку для дичи, и в один миг живой заяц сделался охотничьим трофеем.

— Вот теперь надень сетку через плечо и будешь не дед Мазай, а барон Мюнхаузен, — рассмеялся товарищ. — Скажешь, что у тебя зайцы сами живьем в сетку прыгают.

— Ладно, ладно, нечего смеяться, — ответил я. — У нас еще твоя сетка есть. Посмотрим, какого зверя ты в нее посадишь.

Мы поплыли дальше, внимательно осматривая тихую гладь воды и желая поскорее заметить еще кого-нибудь из тех, кому понадобилась бы наша помощь.

— Эй, кумушка, куда же ты забралась? — воскликнул мой приятель и повернул лодку в сторону.

Впереди из воды торчало толстое спиленное дерево, и на его верхнем конце над водой копошилось что-то ярко-рыжее.

Да ведь это лиса! Вот куда ее загнала вода!

Заметив нас, лисица засуетилась и, не подпустив лодку шагов на сто, бросилась в воду и поплыла.

— Тебя не догонишь, — покачал головой Иван Кузьмич. — Ну что ж, плыви, если в компанию к нам не хочешь.

Мы поплавали еще по разливу, но сетка приятеля так и осталась пустой, больше «добычи» нам не попало.

Наконец мы подплыли к намеченному островку, вытащили на берег лодку и крепче привязали к дереву. Вода все прибывала, лодку могло унести.

Остров, на который мы высадились, был хотя и довольно большой, но низкий, его быстро заливало водой.

— На другой надо ехать, какой повыше,— решил Иван Кузьмич.

— А давай-ка пройдемся по этому,— предложил я,— посмотрим, кто здесь спасается.

Мы пошли в глубь острова.

— Держи, держи! — неожиданно крикнул приятель.

Из-под самых ног у него выскочил заяц и огромными прыжками пустился наутек.

Пройдя немного, мы выпугнули из кустов еще двух зайцев.

— Жаль косых,— сказал Иван Кузьмич.— Зальет островок — и капут им. Куда поплывешь?

— А нельзя ли их как-нибудь поймать и на берег переправить? — спросил я.

— Да разве их голыми руками поймаешь? — ответил приятель.— Если бы сеть была, тогда другое дело.

Мы вошли в небольшой дубовый лесок.

— Кто же там ходит? Кажется, лошадь. Но зачем она сюда попала?

Мы подошли поближе.

— Это же лось,— тихо сказал Иван Кузьмич.— Чудно! Чего ж он тут околачивается? Давно бы уплыл. Ведь ему переплыть такой разлив — раз плюнуть.

Но лось, даже заметив нас, видимо, не собирался покидать остров. Он только беспокойно забегал между деревьями, прижимая уши и сердито топая ногами.

«Почему он не убегает?» Мы подошли еще ближе. Тогда лось отбежал на самый мыс и остановился там у воды, тревожно поглядывая в нашу сторону.

— Э-э, глянь-ка сюда! — окликнул меня приятель, указывая под дубовый куст.

Я подошел.

Под кустом, среди прошлогодней листвы, лежал лосенок. Он лежал неподвижно, прижавшись к земле и совершенно сливаясь с окружающей серовато-желтой листвой. Издали его можно было принять скорее за холмик земли, чем за живое существо.

— Вот, значит, в чем тут дело,— сказал Иван Кузьмич.— Он тут на островке и родился, а это matka его, лосиха,— кивнул он в сторону мыса, где все так же взволнованно перебегал с места на место огромный, похожий на бурую лошадь дикий зверь.

— Ах ты, малышка! — добродушно засмеялся Иван Кузьмич, глядя на затаившегося лосенка.— Лежит, не шелохнется, а у самого небось душа в пятки ушла. Да и как не уйти, когда два таких страшилища заявились! Стоят над тобой и не уходят. А ты, дружок, нас не бойся, мы тебе зла не сделаем, наоборот — от беды спасем.— Иван Кузьмич поглядел на меня и сказал: — Надо его на берег переправить, а то как вода придет, так ему здесь и крышка.

— А как же лосиха? Где же она его там, на берегу, искать будет?

— Найдет, об этом не беспокойся.— Иван Кузьмич снял с себя ватную куртку и, осторожно нагнувшись, сразу накрыл ею лосенка.— Вот и попался!

Лосенок мигом очнулся от своего оцепенения; он забился, стараясь вырваться, и жалобно запищал.

В тот же миг в стороне послышался треск сучьев, какой-то глухой храп.

Я оглянулся и невольно схватился за ружье: бешено всхрапывая, угрожающе топая ногами, к нам бежала лосиха.

Страшен вид разъяренного зверя, когда он защищает своего детеныша. Шерсть на загривке у лосихи поднялась дыбом, уши приложены, ноздри яростно раздулись, из полуоткрытого рта вырывался не то сдавленный стон, не то какое-то мычание.

Не замечая ничего кругом, она наткнулась на молодую березку. Удар ноги — и деревце, будто срубленное, полетело в сторону.

— Пальни, вверх пальни! — крикнул мне товарищ, пятясь за дерево, но не выпуская из рук лосенка.

Я вскинул ружье и выстрелил.

Лосиха шарахнулась в сторону, отскочила на несколько шагов и остановилась.

— Дуреха, мы ж твоего дитенка спасаем, а ты на нас! — укоризненно проговорил Иван Кузьмич.

Мы направились к берегу, и лосиха, громко, от-



рывисто охая, побежала за нами, лесом. Она поминутно останавливалась и тревожно глядела на нас. Страх за детеныша на время победил у нее даже страх перед человеком.

Мы отвязали лодку и поплыли. Товарищ снова взялся за весло, а мне передал лосенка.

Малыш, угревшись в теплой куртке, совсем успокоился. Он больше не вырывался и не кричал, а только пугливо озирался по сторонам своими большими темными глазами. Казалось, он искал свою мать.

— Назад обернись, гляди,— сказал мне Иван Кузьмич.

Я оглянулся. Позади лодки, немного в стороне, из воды высывалась горбоносая морда плывущей лосихи.

— Видал? Вот что значит мать-то.

Вдали показался берег. Все ближе и ближе. Вот уже лодка чиркнула о дно мелководья и остановилась.

Мы вынесли лосенка на берег, опустили на землю и отошли к кустам. Но малыш, видимо, настолько растерялся, что даже не побежал прочь. Он встал на свои еще некрепкие ножки, огляделся и вдруг побрел прямо к нам.

— Ну, вот те и на! — развел руками Иван Кузьмич.— Иди-ка ты лучше к матери, вон она уж на берег выскочила.

Выбежав на сухое место, лосиха издала негромкий, очевидно призывный, звук. Лосенок мигом обернулся, насторожил уши и нетвердыми шажками побежал на зов.

— Беги, беги. Тут-то, брат, попривольнее будет,— ласково проговорил ему вслед Иван Кузьмич.

Мы сели в лодку и поплыли к острову городить шалаши.

СТАРЫЙ БЛИНДАЖ

Пошел я как-то весною в лес. Все утро бродил. Где только не побывал: и в ельнике, и в молодом березнячке. Измучился. «Ну,— думаю,— теперь отдохну немного, а потом — домой».

Вышел я на поляну.

Вот где благодать-то!

Вся поляна в цветах. Каких-каких только нет: красные, желтые, голубые... словно разноцветные бабочки расселись на стебли травы; расселись и греются в ярких лучах летнего солнца.

Люблю я лесные цветы — не рвать, а лечь среди них и рассматривать каждый цветок. Ведь у любого из них свой особый вид и как будто даже особый характер.

Вот большие, глазастые ромашки — «любишь не любишь». Они весело растопырили белые лепестки, точно глядят вам прямо в лицо. А розовый клевер совсем иной: он так и прячет в густой траве свою круглую стриженую головку. И тут же склонились, будто о чем-то задумались, большие лиловые колокольчики.

Помню, в детстве старушка няня мне говорила о них: «Как поспеет трава в лесу, наступит время ее косить, тут лесной колокольчик и зазвенит и подаст свой голосок: берите, мол, косы, идите скорее в леса, в луга, запасайте на зиму душистое свежее сено».

Вспомнились мне эти нянины сказки, и захотелось, как в детстве, спрятаться в траву, затаиться в ней, чтобы слушать звенящую тишину летнего полдня.

Я пошел через поляну — укрыться в тени под старыми березами — и неожиданно на самом краю, среди кустов, увидел что-то темное, похожее на вход в пещеру. Сверху его покрывали толстые, обросшие мохом бревна. Многие из них уже сгнили и провалились внутрь.

«Да это же старый блиндаж!» Я подошел поближе и заглянул внутрь. Оттуда тянуло сыростью, запахом плесени.

Невольно вспомнились страшные годы войны, когда людям приходилось рыть эти мрачные земляные убежища.

Я отошел в тень под березы, улегся в траву и еще раз взглянул на разрушенный старый блиндаж.

Вдруг мне почудилось, что внутри него кто-то зашевелился.

Я вздрогнул: «Кто это?»

Из-под обломков бревен показалась полосатая мордочка барсука.

Зверек долго осматривался по сторонам, принюхивался. Но легкий ветерок дул от него ко мне, и потому чуткий зверь не обнаружил моего присутствия.

Убедившись наконец, что поблизости нет никакой опасности, барсук вылез из-под бревна и суетливо забегал по полянке, словно отыскивая что-то. Потом он вновь исчез в блиндаже.

«Странно! — подумал я. — Барсук — ночной зверек. Ночью он бродит по лесу, а днем спит в норе. Зачем же теперь он вылезал из своего убежища?»

И, будто отвечая на мой вопрос, из блиндажа опять показался тот же зверек. В зубах он что-то тащил.

Я пригляделся, стараясь рассмотреть его ношу. Да ведь это молодой барсучонок!

Вытащив детеныша из-под бревна, барсук положил малыша у входа, а сам торопливо вернулся в блиндаж и сейчас же вновь выбежал оттуда со вторым барсучонком. Так он вынес на солнышко четырех барсучат. Они были маленькие и очень толстые, как дворовые кутята.

Я крайне удивился, глядя на такой поздний выводок, обычно барсучата рождаются ранней весной.

Молодые барсучки, неуклюже переваливаясь, бродили на своих коротеньких ножках по полянке. А старый барсук (очевидно, их мать) зорко наблюдал за детворой. Стоило только какому-нибудь из малышей отойти немного подальше от других, как барсучиха подбегала к нему, осторожно брала зубами за шкурку и тащила назад.

Погуляв на солнышке, барсучата один за другим подобрались к матери и начали толкать ее своими черными носиками под живот.

Тогда старая барсучиха разлеглась на боку, а барсучки, как поросята, улеглись возле нее и стали сосать молоко.

Мне было не очень удобно наблюдать зверьков из густой травы. Я приподнялся, нечаянно хрустнул сучком и этим испортил все дело.

Барсучиха вскочила, и не успел я опомниться, как она мордой и передними лапами в один миг затолкала всех четырех детенышей обратно под бревна. Сунула и следом исчезла там же сама.

И поляна вновь опустела, будто на ней никого и

не было. Только большая нарядная бабочка-махаон не торопясь перелетала с цветка на цветок.

Я выбрался из-под берез, размял затекшие ноги и еще раз взглянул на старый блиндаж. Но теперь он мне уже не казался угрюмым и мрачным.

Да теперь это вовсе и не блиндаж, а просто барсучья нора, где спокойно живет семейство лесных зверей.

И глазастые ромашки тоже забрались на самый верх, на сгнившие бревна, и глядят на меня, как глядели когда-то в детстве; и лиловые колокольчики столпились у самого входа, качают головками, будто тихонько звенят о том, что уже наступает пора выходить на луг. Косить густую, пахучую траву, а вечером зажигать костры, смеяться и петь веселые песни.

Я огляделся кругом, и на душе у меня стало так хорошо, так радостно! В каждом цветке, расцветшем на сгнивших бревнах, в каждой зеленой ветке чувствовалось столько свежести и молодой, здоровой силы... Они тянулись к солнцу, они хотели жить и всем своим видом твердили о торжестве жизни, которая сможет выдержать самые тяжелые испытания, выдержать и победить.

МАЛЕНЬКИЙ ЛЕСОВОД

Шел я однажды зимой по лесу.

Было особенно тихо, по-зимнему, только поскрипывало где-то старое дерево.

Я шел не торопясь, поглядывая кругом.

Вдруг вижу — на снегу набросана целая куча сосновых шишек. Все вылущенные, растрепанные: хорошо над ними кто-то потрудились.

Посмотрел вверх на дерево. Да ведь это не сосна, а осина! На осине сосновые шишки не растут. Значит, кто-то натаскал их сюда.

Оглядел я со всех сторон дерево. Смотрю — немного повыше моего роста в стволе расщелинка, а в расщелинку вставлена сосновая шишка, такая же трепаная, как и те, что на снегу валяются.

Отошел я в сторону и сел на пенек. Просидел минут пять, гляжу — к дереву птица летит, небольшая, поменьше галки. Сама вся пестрая — белая с черным, а на голове черная с красным кантиком / шапочка. Сразу узнал я дятла.

Летит дятел, несет в клюве сосновую шишку.

Прилетел и уселся на осину. Да не на ветку, как все птицы, а прямо на ствол, как муха на стену. Зацепился за кору острыми когтями, а снизу еще хвостом подпирается. Перья у него в хвосте жесткие, крепкие.

Сунул свежую шишку в ту расщелинку, а старую вытащил клювом и выбросил. Потом уселся поудобнее, оперся на растопыренный хвост и начал из всех сил долбить шишку, выклеивать семена.

Расправился с этой, полетел за другой.

Вот почему под осиной столько сосновых шишек очутилось!

Видно, понравилась дятлу эта осина с расщелинкой в стволе, и выбрал он ее для своей «кузницы». Так называется место, где дятел шишки долбит.

Засмотрелся я на дятла, как он своим клювом шишки расклеивает. Засмотрелся и задумался:

«Ловко это у него получается: и сам сыт, и лесу польза. Не все семена ему в рот попадут, много и разроняет. Упадут семена на землю. Какие погибнут, а какие весной и прорастут...»

Стал я вокруг себя оглядываться: сколько сосенок тут из-под снега топорщится! Кто их насадил — дятел, клесты или белки? Или ветер семена занес?

Едва выглядывают крохотные деревца, чуть толще травинки. А пройдет тридцать-сорок лет — и поднимется вот на этом самом месте молодой сосновый бор.

НАСЕДКА

Ранней весной ребята отправились с лесником дядей Федором помогать ему жечь в лесу хворост. Этот хворост остался от зимней рубки деревьев, и его нужно было убрать, чтобы очистить лес.

Мальчики шли по дороге, весело переговариваясь и поглядывая по сторонам.

Хорошо в эту пору в лесу! Он еще не оделся листвою, весь казался прозрачным, будто умылся весенними водами, каждая ветка блестела на солнце.

Осинник и орешник были сплошь увешаны длинными сережками, а молодые березки уже начинали чуть-чуть зеленеть.

По кустам и деревьям на все лады распевали птицы, и, словно передразнивая их, в ближайшем болоте весело урчали лягушки.

— Гляди, гляди, сколько лягушачьей икры! — воскликнул один из ребят, шедший по краю дороги.

Он поднял с земли сучок и начал им легонько трогать огромные комья прозрачной слизи, плававшие в придорожной канаве. Товарищи обступили его.

— И ведь из каждой икринки головастик выведется, — говорили ребята. — Тьма их тут будет, прямо не счесть!

— Ну, молодежь, чего остановились? Пошли, пошли! — окликнул шедший впереди дядя Федор.

Все опять двинулись в путь, поминутно открывая новые и новые признаки весны. Вон в стороне сухой высокий бугор, лиловый от крупных, похожих на колокольчики цветов, — это цветет сон-трава. А вот у самой дороги большая муравьиная куча. Она уже ожила под лучами весеннего солнца. Издали кажется, что поверхность кучи вся движется, будто кипит темной блестящей смолой. Это тысячи муравьев суетятся, бегают взад и вперед, чинят свой муравейник.

— Ой, ребятки, сморчков-то сколько! — отозвался в сторонке чей-то радостный голос.

И все побежали скорее собирать эти первые весенние грибы.

— Вы что, по грибы в лес пришли? — опять добродушно окликнул ребят дядя Федор. — Вот не возьму вас с собой, оставайтесь здесь.

— Нет, нет, дядя Федя, мы тебя мигом догоним! — кричали ребята, собирая грибы кто в шапку, а кто прямо в карман.

Наконец добрались и до вырубki. Тут лежали большие кучи хвороста. Лесник показал ребятам, как нужно их поджигать.

В эту пору, пока земля еще сырая, бояться пожара нечего. Но все-таки дядя Федор зорко поглядывал за тем, как в разных концах вырубки закури-

лись синие дымки и начал весело потрескивать уже подсохший на солнце хворост. К запахам весеннего леса прибавился горьковатый запах дымка.

Дядя Федор повел ребят на край вырубки. Там тоже виднелась куча хвороста, а за ней начинался лес.

Ребята нарвали прошлогодней травы, подложили под хворост и подожгли. Пламя лизнуло сухую листву, и красноватые языки стали весело перебегать с ветки на ветку.

Налетел ветерок, сразу раздул костер. Золотой сноп огня метнулся в сторону. И в тот же миг под хворостом что-то захлопало, зашумело. Большая пестрая птица вырвалась из-под веток и полетела вдоль вырубки низко над самой землей.

— Тетерка! — вскрикнул лесник, бросаясь к месту, откуда вылетела птица.

На земле из-под хвороста виднелось гнездо и в нем крупные светлые яйца.

— Гнездо сгорит! — закричали ребята.

Но лесник уже заминал ногами огонь.

— Оттаскивай сучья! — командовал он.

Все бросились на подмогу. Через минуту огонь был погашен.

— Вот ведь что значит насадка — детей выводит, — покачал головой дядя Федор. — Люди рядом, огнем чуть не спалило, а она сидит, до последнего терпит. Придется эту кучу не трогать, — добавил он.

Поправив растасканный возле гнезда хворост, мальчики с лесником пошли на другой конец вырубки. Смотреть еще раз гнездо тетерки дядя Федор не разрешил.

— Нельзя ее больше тревожить, — сказал он. — Дня через два придем, тогда поглядим, вернулась к гнезду или нет.

Делать нечего, пришлось ждать.

Очень хотелось ребятам на другой же день сбежать посмотреть спасенное гнездо. Хотелось, да нельзя: ну-ка дядя Федор узнает! Никогда больше в лес с собой не возьмет.

Наконец прошли эти два дня. И вот ребята и дядя Федор опять в лесу. Осторожно, стараясь не хрустнуть сучками, подкрадываются они к куче хвороста. Сидит или нет?

— Сидит, сидит,— первым заметил и зашептал лесник.

Ребята сначала ничего не могли разглядеть.

— Где? где?

— Да вон под ветками...

Дети подвинулись еще ближе и тут наконец увидели сидящую в гнезде тетерку. Вся пестрая, на пестрой земле она была совсем незаметна.

— Рядом пройдешь — не заметишь! — негромко сказал один из ребят.

— Сидит-то как тихо, ни одним перышком не шевельнет! — отозвался другой. — Боится нас, а гнезда не бросает. Значит, гнездо ей дороже жизни.

— Ну, ребята, нечего зря и тревожить,— сказал дядя Федор. — Пусть сидит да птенцов выводит.

И лесник с детьми потихоньку пошли домой.

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ
ПЛАТОНОВ
1899—1951

КОРОВА

Серая степная корова черкасской породы жила одна в сарае. Этот сарай, сделанный из выкрашенных снаружи досок, стоял на маленьком дворе путевого железнодорожного сторожа. В сарае, рядом с дровами, сеном, просяной соломой и отжившими свой век домашними вещами — сундуком без крышки, прогоревшей самоварной трубой, одежной ветошью, стулом без ножек — было место для ночлега коровы и для ее жизни в долгие зимы.

Днем и вечером к ней в гости приходил мальчик Вася Рубцов, сын хозяина, и гладил ее по шерсти около головы. Сегодня он тоже пришел.

— Корова, корова, — говорил он, потому что у коровы не было своего имени, и он называл ее, как было написано в книге для чтения. — Ты ведь корова!.. Ты не скучай, твой сын выздоровеет, его нынче отец назад приведет.

У коровы был теленок — бычок; он вчерашний день подавился чем-то, и у него стала идти изо рта слюна и желчь. Отец побоялся, что теленок падет, и повел его сегодня на станцию — показать ветеринару.

Корова смотрела вбок на мальчика и молчала, жуя давно иссохшую, замученную смертью былинку. Она всегда узнавала мальчика, он любил ее. Ему нравилось в корове все, что в ней было, — добрые теплые глаза, обведенные темными кругами, словно корова была постоянно утомлена или задумчива, рога, лоб и ее большое худое тело, которое было таким потому, что свою силу корова не собирала для себя в

жир и в мясо, а отдавала ее в молоко и в работу. Мальчик поглядел еще на нежное, покойное вымя с маленькими осохшими сосками, откуда он кормился молоком, и потрогал крепкий короткий подгрудок и выступы сильных костей спереди.

Посмотрев немного на мальчика, корова нагнула голову и взяла из корыта нежадным ртом несколько былинки. Ей было некогда долго глядеть в сторону или отдыхать, она должна жевать непрерывно, потому что молоко в ней рождалось тоже непрерывно, а пища была худой, однообразной, и корове нужно с нею долго трудиться, чтобы напиться.

Вася ушел из сарая. На дворе стояла осень. Вокруг дома путевого сторожа простирались ровные, пустые поля, отражавшие и отшумевшие за лето и теперь выкошенные, загложшие и скучные.

Сейчас начинались вечерние сумерки; небо, покрытое серой прохладной наволочью, уже смежалось тьмою; ветер, что весь день шевелил остья скошенных хлебов и голые кусты, омертвевшие на зиму, теперь сам улегся в тихих, низких местах земли и лишь еле-еле поскрипывал флюгаркой на печной трубе, начиная песнь осени.

Однколе́йная линия железной дороги пролегла недалеко от дома, возле палисадника, в котором в эту пору уже все посохло и поникло — и трава и цветы. Вася остерегался заходить в огорожу палисадника: он ему казался теперь кладбищем растений, которые он посадил и вывел на жизнь весной.

Мать зажгла лампу в доме и выставила сигнальный фонарь наружу, на скамейку.

— Скоро четыреста шестой пойдет, — сказала она сыну, — ты его проводи. Отца-то что-то не видать... Уж не загулял ли?

Отец ушел с теленком на станцию, за семь километров, еще с утра; он, наверно, сдал ветеринару теленка, а сам на станционном собрании сидит, либо пиво в буфете пьет, либо на консультацию по техминимуму пошел. А может быть, очередь на ветпункте большая и отец ожидает. Вася взял фонарь и сел на деревянную перекладину у переезда. Поезда еще не было слышно, и мальчик огорчился: ему некогда было сидеть тут и провожать поезда, ему пора было готовить уроки к завтрашнему дню и ложиться спать,

а то утром надо рано подниматься. Он ходил в колхозную семилетку за пять километров от дома и учился там в четвертом классе.

Вася любил ходить в школу, потому что, слушая учительницу и читая книги, он воображал в своем уме весь мир, которого он еще не знал; который был вдали от него. Нил, Египет, Испания и Дальний Восток, великие реки — Миссисипи, Енисей, тихий Дон и Амазонка, Аральское море, Москва, гора Арарат, остров Уединения в Ледовитом океане — все это волновало Васю и влекло к себе. Ему казалось, что все страны и люди давно ожидают, когда он вырастет и придет к ним. Но он еще нигде не успел побывать: родился он здесь же, где жил и сейчас, а был только в колхозе, в котором находилась школа, и на станции. Поэтому с тревогой и радостью он всматривался в лица людей, глядящих из окон пассажирских поездов, — кто они такие и что они думают, — но поезда шли быстро, и люди проезжали в них не узнанными мальчиком на переезде. Кроме того, поездов было мало, всего две пары в сутки, а из них три поезда проходили ночью.

Однажды, благодаря тихому ходу поезда, Вася явственно разглядел лицо молодого задумчивого человека. Он смотрел через открытое окно в степь, в незнакомые для него места на горизонте и курил трубку. Увидев мальчика, стоявшего на переезде с поднятым зеленым флажком, он улыбнулся ему и ясно сказал: «До свиданья, человек!» — и еще помахал на память рукою. «До свиданья, — ответил ему Вася про себя, — вырасту, увидимся! Ты поживи и обожди меня, не умирай!» И затем долгое время мальчик вспоминал этого задумчивого человека, уехавшего в вагоне неизвестно куда; он, наверное, был парашютист, артист, или орденосец, или еще лучше, так думал про него Вася. Но вскоре память о человеке, миновавшем однажды их дом, забылась в сердце мальчика, потому что ему надо было жить дальше и думать и чувствовать другое.

Далеко — в пустой ночи осенних полей — пропел паровоз. Вася вышел поближе к линии и высоко над головой поднял светлый сигнал свободного прохода. Он слушал еще некоторое время растущий гул бегущего поезда и затем обернулся к своему дому. На их



дворе жалобно замычала корова. Она все время ждала своего сына — теленка, а он не приходил. «Где же это отец так долго шатается! — с недовольством подумал Вася. — Наша корова ведь уже плачет! Ночь, темно, а отца все нет».

Паровоз достиг переезда и, тяжело проворачивая колеса, дыша всею силой своего огня во тьму, миновал одинокого человека с фонарем в руке. Механик и не посмотрел на мальчика, — далеко высунувшись из окна, он следил за машиной: пар пробил набивку в сальнике поршневого штока и при каждом ходе поршня вырывался наружу. Вася это тоже заметил. Скоро будет затяжной подъем, и машине с неплотностью в цилиндре тяжело будет вытягивать состав. Мальчик знал, отчего работает паровая машина, он прочитал про нее в учебнике по физике, а если бы там не было про нее написано, он все равно бы узнал о ней, что она такое. Его мучило, если он видел какой-либо предмет или вещество и не понимал, отчего они живут внутри себя и действуют. Поэтому он не обиделся на машиниста, когда тот проехал мимо и не поглядел на его фонарь; у машиниста была забота о машине, паровоз может стать ночью на долгом подъеме, и тогда ему трудно будет стронуть поезд вперед; при остановке вагоны отойдут немного назад, состав станет врастяжку, и его можно разорвать, если сильно взять с места, а слабо его вовсе не сдвинешь.

Мимо Васи пошли тяжелые четырехосные вагоны; их рессорные пружины были сжаты, и мальчик понимал, что в вагонах лежит тяжелый дорогой груз. Затем поехали открытые платформы, на них стояли автомобили, неизвестные машины, покрытые брезентом, был насыпан уголь, горой лежали кочаны капусты, после капусты были новые рельсы и опять начались закрытые вагоны, в которых везли живность. Вася светил фонарем на колеса и буксы вагонов — не было ли там чего неладного, но там было все благополучно. Из одного вагона с живностью закричала чужая безвестная телушка, и тогда из сарая ей ответила протяжным, плачущим голосом корова, тоскующая о своем сыне.

Последние вагоны прошли мимо Васи совсем тихо. Слышно было, как паровоз в голове поезда бился

в тяжелой работе, колеса его буксовали и состав не натягивался. Вася направился с фонарем к паровозу, потому что машине было трудно, и он хотел побыть около нее, словно этим он мог разделить ее участь.

Паровоз работал с таким напряжением, что из трубы его вылетали кусочки угля и слышалась гулкая дышащая внутренность котла. Колеса машины медленно проворачивались, и механик следил за ними из окна будки. Впереди паровоза шел по пути помощник машиниста. Он брал лопатой песок из балластного слоя и сыпал его на рельсы, чтобы машина не буксовала. Свет передних паровозных фонарей освещал черного, измазанного в мазуте, утомленного человека. Вася поставил свой фонарь на землю и вышел на балласт к работающему с лопатой помощнику машиниста.

— Дай, я буду,— сказал Вася.— А ты ступай помогай паровозу. А то вот-вот он остановится.

— А сумеешь? — спросил помощник, глядя на мальчика большими светлыми глазами из своего глубокого темного лица.— Ну попробуй! Только осторожней, оглядывайся на машину!

Лопата была велика и тяжела для Васи. Он отдал ее обратно помощнику.

— Я буду руками, так легче.

Вася нагнулся, нагреб песку в горсти и быстро насыпал его полосой на головку рельса.

— Посыпай на оба рельса,— указал ему помощник и побежал на паровоз.

Вася стал сыпать по очереди, то на один рельс, то на другой. Паровоз тяжело, медленно шел вслед за мальчиком, растирая песок стальными колесами. Угольная гарь и влага из охлажденного пара падали сверху на Васю, но ему было интересно работать, он чувствовал себя важнее паровоза, потому что сам паровоз шел за ним и лишь благодаря ему не буксовал и не останавливался.

Если Вася забывался в усердии работы и паровоз к нему приближался почти вплотную, то машинист давал короткий гудок и кричал с машины: «Эй, оглядывайся!.. Сыпь погуще, поровней!»

Вася берегся машины и молча работал. Но потом он рассерчал, что на него кричат и приказывают; он сбежал с пути и сам закричал машинисту:

— А вы чего без песка поехали? Иль не знаете!..

— Он у нас весь вышел,— ответил машинист.— У нас посуда для него мала.

— Добавочную поставьте,— указал Вася, шагая рядом с паровозом.— Из старого железа можно согнуть и сделать. Вы кровельщику закажите.

Машинист поглядел на этого мальчика, но во тьме не увидел его хорошо. Вася был одет исправно и обут в башмаки, лицо имел небольшое и глаз не сводил с машины. У машиниста у самого дома такой же мальчишка рос.

— И пар у вас идет, где не нужно; из цилиндра, из котла дует сбоку,— говорил Вася.— Только зря сила в дырки пропадает.

— Ишь ты! — сказал машинист.— А ты садись веди состав, а я рядом пойду.

— Давай! — обрадованно согласился Вася.

Паровоз враз, во всю полную скорость, завертел колесами, на месте, точно узник, бросившийся бежать на свободу, даже рельсы под ним далеко загремели по линии.

Вася выскочил опять вперед паровоза и начал бросать песок на рельсы, под передние бегунки машины. «Не было бы своего сына, я бы усыновил этого,— бормотал машинист, укрощая буксованье паровоза.— Он с малолетства уже полный человек, а у него еще все впереди... Что за черт: не держит ли еще тормоза где-нибудь в хвосте, а бригада дремлет, как на курорте. Ну, я ее на уклоне растрясусь».

Машинист дал два длинных гудка — чтоб отдали тормоза в составе, если где зажато.

Вася оглянулся и сошел с пути.

— Ты что же? — крикнул ему машинист.

— Ничего,— ответил Вася.— Сейчас не круто будет, паровоз без меня поедет, сам, а потом под гору...

— Все может быть,— произнес сверху машинист.— На, возьми-ка! — И он бросил мальчику два больших яблока.

Вася поднял с земли угощение.

— Обожди, не ешь! — сказал ему машинист.— Пойдешь назад, глянь под вагоны и послушай, пожалуйста: не зажаты ли где тормоза. А тогда выйди на бугорок, сделай мне сигнал своим фонарем — знаешь как?

— Я все сигналы знаю,— ответил Вася и уцепился за трап паровоза, чтобы прокатиться. Потом он наклонился и поглядел куда-то под паровоз.

— Зажато! — крикнул он.

— Где? — спросил машинист.

— У тебя зажато — тележка под тендером! Там колеса крутятся тихо, а на другой тележке шибче!

Машинист выругал себя, помощника и всю жизнь целиком, а Вася соскочил с трапа и пошел домой.

Вдалеке светился на земле его фонарь. На всякий случай Вася послушал, как работают ходовые части вагонов, но нигде не услышал, чтобы терлись и скрежетали тормозные колодки.

Состав прошел, и мальчик обернулся к месту, где был его фонарь. Свет от него вдруг поднялся в воздух, фонарь взял в руки какой-то человек. Вася добежал туда и увидел своего отца.

— А телок наш где? — спросил мальчик у отца.— Он умер?

— Нет, он поправился,— ответил отец.— Я его на убой продал, мне цену хорошую дали. К чему нам бычок!

— Он еще маленький,— произнес Вася.

— Маленький дороже, у него мясо нежней,— объяснил отец.

Вася переставил стекло в фонаре, белое заменил зеленым и несколько раз медленно поднял сигнал над головою и опустил вниз, обратив его свет в сторону ушедшего поезда: пусть он едет дальше, колеса под вагонами идут свободно, они нигде не зажаты.

Стало тихо. Уныло и кротко промышчала корова во дворе. Она не спала в ожидании своего сына.

— Ступай один домой,— сказал отец Васе,— а я наш участок обойду.

— А инструмент? — напомнил Вася.

— Я так; я погляжу только, где костыли повышли, а работать нынче не буду,— тихо сказал отец.— У меня душа по телянку болит: растили-растили его, уж привыкли к нему... Знал бы, что жалко его будет, не продал бы...

И отец пошел с фонарем по линии, поворачивая голову то направо, то налево, осматривая путь.

Корова опять протяжно заныла, когда Вася открыл калитку во двор и корова услышала человека.

Вася вошел в сарай и присмотрелся к корове, привыкая глазами ко тьме. Корова теперь ничего не ела; она молча и редко дышала, и тяжкое, трудное горе томилось в ней, которое было безысходным и могло только увеличиваться, потому что свое горе она не умела в себе утешить ни словом, ни сознанием, ни другом, ни развлечением, как это может делать человек. Вася долго гладил и ласкал корову, но она оставалась неподвижной и равнодушной: ей нужен был сейчас только один ее сын — теленок, и ничего не могло заменить его — ни человек, ни трава и ни солнце. Корова не понимала, что можно одно счастье забыть, найти другое и жить опять, не мучаясь более. Ее смутный ум не в силах был помочь ей обмануться: что однажды вошло в сердце или в чувство ее, то не могло быть там подавлено или забыто.

И корова уныло мычала, потому что она была полностью покорна жизни, природе и своей нужде в сыне, который еще не вырос, чтобы она могла оставить его, и ей сейчас было жарко и больно внутри, она глядела вотьму большими налитыми глазами и не могла ими заплакать, чтобы обессилить себя и свое горе.

Утром Вася ушел спозаранку в школу, а отец стал готовить к работе небольшой однолемешный плуг. Отец хотел запахать на корове немного земли в полосе отчуждения, чтобы по весне посеять там просо.

Возвратившись из школы, Вася увидел, что отец пашет на корове, но запахал мало. Корова покорно волочила плуг и, склонив голову, капала слюной на землю. На своей корове Вася с отцом работали и раньше; она умела пахать и была привычна и терпелива ходить в ярме.

К вечеру отец распряг корову и пустил ее попас-тись на жнивье по старополью. Вася сидел в доме за столом, делал уроки и время от времени поглядывал в окно — он видел свою корову. Она стояла на ближнем поле, не паслась и ничего не делала.

Вечер наступал такой же, какой был вчера, сумрачный и пустой, и флюгарка поскрипывала на крыше, точно напевая долгую песнь осени. Уставившись глазами в темнеющее поле, корова ждала своего сына; она уже теперь не мычала по нем и не звала его, она терпела и не понимала.

Поделав уроки, Вася взял лопоту хлеба, посыпал

его солью и понес корове. Корова не стала есть хлеб и осталась равнодушной, как была. Вася постоял около нее, а потом обнял корову снизу за шею, чтоб она знала, что он понимает и любит ее. Но корова резко дернула шеей, отбросила от себя мальчика и, вскрикнув непохожим горловым голосом, побежала в поле. Убежав далеко, корова вдруг повернула обратно и, то прыгая, то припадая передними ногами и прижимаясь головой к земле, стала приближаться к Васе, ожидавшему ее на прежнем месте.

Корова пробежала мимо мальчика, мимо двора и скрылась в вечернем поле, и оттуда еще раз Вася услышал ее чужой горловой голос.

Мать, вернувшаяся из колхозного кооператива, отец и Вася до самой полночи ходили в разные стороны по окрестным полям и кликали свою корову, но корова им не отвечала, ее не было. После ужина мать заплакала, что пропала их кормилица и работница, а отец стал думать о том, что придется, видно, писать заявление в кассу взаимопомощи и в дорпрофсоюз, чтоб выдали ссуду на обзаведение новой коровой.

Утром Вася проснулся первым, еще был серый свет в окнах. Он расслышал, что около дома кто-то дышит и шевелится в тишине. Он посмотрел в окно и увидел корову; она стояла у ворот и ожидала, когда ее впустят домой...

С тех пор корова хотя и жила и работала, когда приходилось пахать или съездить за мукой в колхоз, но молоко у нее пропало вовсе, и она стала угрюмой и непонятливой. Вася ее сам поил, сам задавал корм и чистил, но корова не отзывалась на его заботу, ей было все равно, что делают с ней.

Среди дня корову выпускали в поле, чтоб она походила на воле и чтоб ей стало лучше. Но корова ходила мало; она подолгу стояла на месте, затем шла немного и опять останавливалась, забывая ходить. Однажды она вышла на линию и тихо пошла по шпалам, тогда отец Васи увидел ее, окоротил и свел на сторону. А раньше корова была робкая, чуткая и никогда сама не выходила на линию. Вася поэтому стал бояться, что корову может убить поездом или она сама помрет, и, сидя в школе, он все думал о ней, а из школы бежал домой бегом.

И один раз, когда были самые короткие дни и уже смеркалось, Вася, возвращаясь из школы, увидел, что против их дома стоит товарный поезд. Встревоженный, он сразу побежал к паровозу.

Знакомый машинист, которому Вася помогал недавно вести состав, и отец Васи вытаскивали из-под тендера убитую корову. Вася сел на землю и замер от горя первой близкой смерти.

— Я ведь ей минут десять свистки давал,— говорил машинист отцу Васи.— Она глухая у тебя или дурная, что ль? Весь состав пришлось сажать на экстренное торможение, и то не успел.

— Она не глухая, она шалая,— сказал отец.— Задремала, наверно, на путях.

— Нет, она бежала от паровоза, но тихо и в сторону не сообразила свернуть,— ответил машинист.— Я думал, она сообразит.

Вместе с помощником и кочегаром, вчетвером, они выволокли изуродованное туловище коровы из-под тендера и свалили всю говядину наружу, в сухую канаву около пути.

— Она ничего, свежая,— сказал машинист.— Себе засолишь мясо или продашь?

— Продать придется,— решил отец.— На другую корову надо деньги собирать, без коровы трудно.

— Без нее тебе нельзя,— согласился машинист.— Собирай деньги и покупай, я тебе тоже немного деньжонок подброшу. Много у меня нет, а чуть-чуть найдется. Я скоро премию получу.

— Это за что ж ты мне денег дашь? — удивился отец Васи.— Я тебе не родня, никто... Да я и сам управлюсь: профсоюз, касса, служба, сам знаешь — оттуда, отсюда...

— Ну, а я добавлю,— настаивал машинист.— Твой сын мне помогал, а я вам помогу. Вон он сидит. Здравствуй! — улыбнулся механик.

— Здравствуй,— ответил ему Вася.

— Я еще никого в жизни не давил,— говорил машинист,— один раз — собаку... Мне самому тяжело на сердце будет, если вам ничем за корову не отплачу.

— А за что ты премию получишь? — спросил Вася.— Ты едешь плохо.

— Теперь немного лучше стал,— засмеялся машинист.— Научился!

— Поставили другую посуду для песка? — спросил Вася.

— Поставили: маленькую песочницу на большую сменили! — ответил машинист.

— Насилу догадались,— сердито сказал Вася.

Здесь пришел главный кондуктор и дал машинисту бумагу, которую он написал, о причине остановки поезда на перегоне.

На другой день отец продал в сельский районный кооператив всю тушу коровы; приехала чужая подвода и забрала ее. Вася и отец поехали вместе с этой подводой. Отец хотел получить деньги за мясо, а Вася думал купить себе в магазине книг для чтения. Они заночевали в районе и провели там еще полдня, делая покупки, а после обеда пошли ко двору.

Идти им надо было через тот колхоз, где была семилетка, в которой учился Вася. Уже стемнело во все, когда отец и сын добрались до колхоза, поэтому Вася не пошел домой, а остался ночевать у школьного сторожа, чтобы не идти завтра спозаранку обратно и не мориться зря. Домой ушел один отец.

В школе с утра начались проверочные испытания за первую четверть. Ученикам задали написать сочинение из своей жизни.

Вася написал в тетради: «У нас была корова. Когда она жила, из нее ели молоко мать, отец и я. Потом она родила себе сына — теленка, и он тоже ел из нее молоко, мы трое и он четвертый, а всем хватало. Корова еще пахала и возила кладь. Потом ее сына продали на мясо. Корова стала мучиться, но скоро умерла от поезда. И ее тоже съели, потому что она говядина. Корова отдала нам все, то есть молоко, сына, мясо, кожу, внутренности и кости, она была доброй. Я помню нашу корову и не забуду».

Ко двору Вася вернулся в сумерки. Отец был уже дома, он только что пришел с линии; он показывал матери сто рублей, две бумажки, которые ему бросил с паровоза машинист в табачном кисете.

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|--|--|-----|
| Ю. Мостков | | |
| Несколько слов об этой книге | | 3 |
| В. Бианки | | |
| Мурзук | | 6 |
| Розовое и оливковое | | 56 |
| А. Серафимович | | |
| Три друга | | 60 |
| Медведь | | 74 |
| Б. Житков | | |
| Про волка | | 83 |
| Про обезьянку | | 97 |
| Мангуста | | 108 |
| Беспризорная кошка | | 115 |
| М. Пришвин | | |
| Говорящий грач | | 124 |
| Журка | | 125 |
| «Изобретатель» | | 126 |
| Ребята и утята | | 129 |
| Медведь | | 130 |
| Еж | | 131 |
| Гаечки | | 134 |
| Н. Головин | | |
| Зюбрик | | 136 |
| Найденыш | | 147 |
| Г. Скребицкий | | |
| Чему научила сказка | | 157 |
| Синичка | | 161 |
| Воришка | | 166 |
| Сиротка | | 168 |
| Белая шубка | | 171 |
| Аистята | | 172 |
| Заботливая мамаша | | 175 |
| Догадливая пичужка | | 177 |
| Ушан | | 178 |
| За лисой | | 181 |
| Речной волк | | 185 |
| Длинноносые рыболовы | | 188 |
| На разливе | | 190 |
| Старый блиндаж | | 196 |
| Маленький лесовод | | 199 |
| Наседка | | 200 |
| А. Платонов | | |
| Корова | | 204 |

